

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

УБИЙСТВО ГОРОДОВ

РОМАН

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Кольчугин лежал в кабинете, в пустоте ночного дома. Смотрел на горящий под потолком светильник из разноцветных стёкол в свинцовой оплётке, купленный когда-то дедом Михаилом во французской лавке. Светильник был выполнен в стиле “модерн”, созвучен мозаикам Врубеля, болотным фиалкам и лилиям, что расцвели в журналах “Аполлон” и “Золотое руно”, в оконных переплётах изысканных особняков, в изнеженных стихах декадентов. Этот светильник Кольчугин помнил с младенчества, возрастал в его таинственном излучении. В разные годы разноцветные стёкла рождали всё новые узоры, которые волновали его детскую душу своими тихими радугами, сливались с его детскими мечтаниями.

Теперь, глядя на этот волшебный фонарь, он думал о тех, кто собирался под ним в застольях, на семейных праздниках или тризнах. Весь огромный род, уцелевшую часть которого он застал в своём детстве. Они, эти любимые старики, не погибшие среди войн и революций или на тюремных нарах, окружали его своими страданиями, любовью и нежностью, соединяли с огромной русской жизнью, уходящей в безбрежное прошлое. Его мысль о каждом из них была таинственным световодом, соединяющим его с небесами, — его, живого, с ними, умершими. Его мысли о них были подобны молитвам, которые помещали их в волшебный мир, где нет смерти и откуда они смотрят на него любящими глазами. Зовут к себе, берегут для него место среди цветущих садов.

Таким же световодом он соединялся с женой. Их разлука казалась временной, обещала чудесную встречу.

Он доживал свои земные дни. Сбережённый остаток духовных сил следовало употребить на то, чтобы приготовиться к встрече с близкими и любимыми. Пройти сквозь крохотный чёрный фокус, именуемый смертью, куда сходятся лучи земной жизни, где на мгновение меркнут, а потом расходятся восхитительным светом, чтобы никогда уже не погаснуть.

Он лежал под любимым фонарём, чувствуя громадность прожитой жизни. Вспоминал множество лиц, которые проплыли мимо и ушли за горизонт минувшего века.

Адмирал Горшков, тяжёлый, тучный, принимавший его в кабинете штаба и крутивший огромный глобус с синим Мировым океаном, в котором плавал великий, созданный им флот. Маршал Толубко, весельчак и шутник, полюбивший его, молодого писателя, пригласивший на космодром, где тяжёлая ракета взлетала в грохочущем пламени, превращаясь в лучистую звезду. Маршал Язов, проигравший битву за Родину, уводивший войска из Москвы, и его взгляд, тоскующий и несчастный, за два часа до ареста. Шолохов, пригласивший его в Вёшенскую. Хрупкое запястье и слабые пальцы, в которых дрожала хрустальная рюмочка, и слёзы текли из синих глаз... Ким Ир Сен, с улыбкой младенца протянувший ему мягкую руку. А потом, много лет спустя, вождь лежал в стеклянном саркофаге, в немеркнущем лунном свете, и было странно видеть его восковую мёртвую руку. Наджибулла, любезно наливавший ему чай в фарфоровую пиалку... А потом его истерзанное тело качалось на дереве. Милошевич в золочёной гостиной, говоривший ему, что американцы проиграют сербам, когда начнётся наземная операция, а вскоре его бледное больное лицо появилось в Гаагском суде. Саддам Хусейн, уверявший его, что американцы, войдя в Ирак, захлебнутся собственной кровью, а вскоре и он, в чёрном костюме, с грубой петлёй на шее выкрикивал проклятья врагам...

Все они являлись в багровом зареве минувшего века, и отблеск этого зари лежал на романах Кольчугина.

И ещё одно лицо — удалённое, как мираж. Ребёнком с колонной демонстрантов он шёл по Красной площади и на Мавзолее видел Сталина, одетого в парадный мундир и фуражку, словно в разноцветной дымке... И теперь, на исходе дней, всё стоит перед ним тот туманный цветной мираж.

Машина мчала его по Рублёвскому шоссе, среди солнечных сосняков, вспыхивающих, как стеклянные кристаллы, элитных посёлков. Знать укрылась за высокими оградами в своих неприступных гнёздах, напомиравших римские храмы, рыцарские замки, мавританские дворцы. Ослепительная под солнцем, как нетающая гора льда, возникла церковь. Машина свернула на узкий асфальт и застыла перед огромными воротами, напоминающими триумфальную арку. Охрана пропустила машину, и тут же появились вторые ворота — подобие первых. Кольчугин подумал, что величие ворот должно было внушать посетителям благоговение перед государственной властью.

Он вышел у резиденции, простой и строгой, ещё из советских времён. Его проводили в гостевую комнату, где он пробыл недолго. Чиновник, вежливый, с ледяными глазами, повёл его в кабинет президента.

Кабинет был длинный, удалявшийся к столу, рядом с которым стояли два полотнища: государственный триколор и президентский, шитый золотом штандарт. Окружённый белым, алым и голубым с проблесками золота, поднялся президент. Гибкий, изысканный, шагнул вперёд, не позволяя гостю пройти всё расстояние от дверей до стола.

— Здравствуйте, Дмитрий Фёдорович, — президент протянул Кольчугину узкую, лёгкую ладонь, и его рукопожатие было тёплым, сердечным.

Президент усадил его за длинный стол, сам сел напротив, и Кольчугин мог рассмотреть его лицо. Оно показалось ему утомлённым, с проступившими на лбу морщинами, с тенями у глаз и тревожными пронзительными зрачками.

— Я пригласил вас, Дмитрий Фёдорович, чтобы поблагодарить за поддержку. К вам прислушиваются многие наши граждане. И в этот сложный период должен звучать голос, который консолидирует общество.

— Очень много разнотолков, много разногласий, — произнёс Кольчугин. — Ещё недавно Крым объединил народ и власть. Между властью и народом был построен *Крымский мост*. Но теперь события на Донбассе расшатывают этот мост.

— Он не должен рухнуть. Вместе с ним может рухнуть государство. Много сил, внешних и внутренних, расшатывают этот мост. На нас напали. Ещё не ракетами и танками, но оружием, которое уничтожает наши идеалы и ценности. Российское государство подвергается мощным разрушительным воздействиям. Мы должны им противостоять.

— Я вижу, каким воздействиям подвергаетесь вы лично. Ведь вы и есть этот Крымский мост. Вас и хотят разрушить.

— Вы правы, давление огромное. Чего стоит недавнее заявление принца Чарльза, который сравнил меня с Гитлером.

— Это значит, вам бросили вызов европейские династии и старая европейская аристократия. После того, как вы на Валдае обвинили Европу в содомском грехе, фактически назвали её “вторым Содомом”, на вас ополчились все оккультные силы мира. Это, быть может, страшнее, чем все санкции и военные базы, вместе взятые.

— Мы говорили об этом с Патриархом. Он разослал по монастырям закрытое послание, в котором просил молиться за меня отдельной молитвой. Я благодарен ему за это.

Кольчугин чувствовал, какая ноша лежит на плечах президента. Государство Российское своей непомерной тяжестью ploщит его. Пучина власти затягивает и давит на него, как на подводную лодку, опустившуюся на предельную глубину.

— Присоединение Крыма народ воспринял, как чудо. Русское Чудо, о котором я столько раз говорил. И вы в сознании народа обрели образ чудотворца. В Георгиевском зале, где вы произнесли свою победную “крымскую речь”, все были едины, все ликовали. Но теперь солнце Крыма начинает меркнуть. Народ охвачен сомнениями, боится предстоящих трудностей, страшится ссоры с Америкой. И невыносимо для русского сердца зрелище окровавленного Донбасса. Когда же мы поможем городам Новороссии?

Президент внимательно слушал. Его брови сдвигались. Нос и подбородок становились острее. Губы стискивались. Словно его мысль стремилась к невидимой точке, в которой сходились все замыслы, все опасения, таилось решение, одно-единственное, предельно опасное, которое ему предстояло принять. Решение, пробивающее тромб русской истории, открывающее путь русскому времени.

— Вы правы, Крым — это чудо. Я буду откровенен, это чудо и моей жизни. Но за чудо надо платить. Наступил посткрымский период русской истории. Опасности, которые подстерегают Россию, велики. Здесь нельзя ошибиться.

— Я понимаю. Простые люди, которые видят кошмар Донбасса, действуют от сердца. Вы же действуете в обстоятельствах, многие из которых нам не известны. Но всё же мы должны помочь Новороссии. Если мы устранимся, их кровь будет на нас. Она превратит солнце Крыма в чёрное светило.

— России предстоят труднейшие испытания. Повторяю, на нас напали. У нас у всех должна быть сильная воля, терпение и стоицизм на годы. Мы опять почувствуем себя русскими, особым народом, которому история во все века готовила тяжчайшие испытания. Либо мы примем эти испытания, либо уклонимся от них — и перестанем быть русскими.

Кольчугин вдруг испытал к президенту слёзную нежность, отцовское бережение, страх за него. Этот невысокий, хрупкий на вид человек казался беззащитным. Он был окружён близкой тьмой, злыми веяниями. Ему желали гибели, целили в него пулей, готовили ему тонкие яды. Кольчугину хотелось его заслонить, поместить в светлый кокон, облечь в волшебный покров, неподвластный злу. Хотелось встать между ним и тьмой, принять на себя удары зла.

— Сегодня мне на стол положили сводку боёв на Донбассе. Там упомянута одна высота, одна гора, где шёл тяжёлый бой, ополченцы и украинские силовики схватывались врукопашную. И когда силы ополченцев были на исходе, они *вызывали огонь на себя!* Так поступали герои Отечественной войны.

— Помогите Донбассу! Он *вызывает огонь на себя!* Дайте понять, что Россия не бросит Донбасс! Пошлите знак!

— О многих вещах я не могу говорить открыто.

— Вам не нужно ни о чём говорить. Ступайте в церковь и поставьте перед Спасителем три свечи: две тонкие и одну большую. И когда корреспонденты спросят вас, кому вы поставили свечи, скажите им, что тонкую свечу поставили за упокой — в память о погибших ополченцах; вторую тонкую —

за здоровье, во славу воюющих героев. А третья, большая — та, о которой Иван Калита, собиратель русских земель, сказал: “Чтобы свеча не погасла”, — она во славу и незабываемость Государства Российского.

Президент помолчал и произнёс:

— Я вас услышал, Дмитрий Фёдорович.

Свидание было окончено. Кольчугин уносился из Ново-Огарёва среди вечерних сосняков, чувствуя воодушевление, веря, что встреча с президентом была не напрасна.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дома, в комнатах, озарённых низким вечерним солнцем, он стал собираться в дорогу. О своём отъезде он сообщит дочери из аэропорта, чтобы избежать её протестов и слёз. В потёртый, выдавший виды баул он неумело складывал вещи, раздражаясь и вспоминая, как ладно ложились в баул под руками жены рубахи, свитера, запасная обувь. Бережно поместил пластмассовый пенал с лекарствами, обилие которых вызывало в нём язвительную самоиронию. Спрятал маленькую икону с Николаем Угодником, которую, по настоянию жены, он взял когда-то на Вторую Чеченскую. И вид этой скромной иконы, которая сберегала его в походах, вдруг вызвал в нём острую тоску, страстное желание увидеть жену, её бледное, печальное лицо, всегда одинаковое перед разлукой. Его дурные предчувствия, тайные страхи стихали, когда она обнимала его на прощанье, быстро крестила, торопливо целовала в губы. Теперь эти предчувствия и страхи некому было отвести. И он с горькой безысходностью сидел перед раскрытым баулом. С любовью к той, кого нет, и даже с любовью к той пустоте, которая возникла после её смерти и которую он старался заполнить своим поздним обожанием.

Они прожили с женой долгие годы. Между ними случались ссоры, периоды отчуждения. Его увлечение другой женщиной, когда он в ослеплении хотел оставить семью и когда она, возмущённая, была готова схватить детей и уйти из дома. Изнурительные будни, нескончаемые хлопоты, уход за детьми, уход за больными стариками. Её жалобы на монотонное течение дней, без праздников, без творческих всплесков, когда её поэтическая душа увядала, и она старилась среди домашних забот.

Всё это забылось после её смерти. Её вырвали из его жизни, и она ушла в жуткую даль, и он рыдал ей вслед, укоряя себя и кляня. Но через год она стала к нему возвращаться, преображённая, лишённая многих собственных ей черт, очищенная и просветлённая. Её реальный образ превратился в лучистую икону, на которой открылся её подлинный лик, идеальный и божественно прекрасный. Смерть была иконописцем, и его воспоминания о жене были молитвой.

Теперь, перед отъездом, ему вдруг захотелось ощутить её земное тепло. Поймать губами дыхание. Провести рукой по её стеклянным волосам. Увидеть, как в глубоком вырезе платья белеет её грудь. Почувствовать ладонью, как бьётся её сердце.

Томимый этим невинным желанием, он направился в комнату жены. Не понимая до конца своих побуждений, открыл дверь. Комната была полна синеватых сумерек, и в этой едва уловимой дымке, среди икон и детских портретов, стояла кровать. На этой кровати жена спала, страдала от болезни и умерла в ту мучительную ночь, когда дочь, не касаясь земли, вплыла в его кабинет.

В этой синей дымке витал образ жены, Казалось, она ещё оставалась в комнате, как прозрачная тень, как *лёгкое дыхание*. И можно было страстной молитвой, жарким упованием вернуть её, вызвать из тени.

Кольчугин приблизился к кровати и лёг на то место, какое занимала жена, когда он увидел её мёртвой и держал её остывающую руку. Лёг так, чтобы голова придавила подушку там, где белело в ту ночь большое, с закрытыми глазами лицо жены. Ноги поместил так, чтобы стопы сливались со стопами жены. Он занял место жены на её смертном одре и стал

звать её, воскрешать, молить, чтобы она вернулась, тратя в это молитве всю оставшуюся у него жизненную силу, всю свою слёзную любовь.

Его душа трепетала, сердце жарко билось, слёзы надежды и обожания текли из глаз. И она появилась. Молодая, сильная, в выцветшем цветном сарафане, в который была одета, когда они шли от Каргополя к Киж-горе среди зноя, дурманных трав, проблеска бесщётных слюдяных насекомых. Впереди, как фиолетовый мираж, возникла гора с деревянной разрушенной церковью. И она спросила: “Почему гора фиолетовая?” Он ответил: “Фиолет-гора”. Когда приблизились, то увидели, что склон был в синих цветах и в красной, крупной, созревшей на солнце землянике. Она собирала ягоды, и он видел, как волнуется её сарафан, как блестят на солнце её голые колена. Она протянула ему благоухающую сочную горсть, и он хватал ягоды губами с её ладони, целуя перепачканные соком пальцы.

Он почувствовал, как больно дрогнуло сердце, словно выпало из обоемы. Заколотилось неровно, с перебоями, ударяясь изнутри о грудь. Кровать, на которой он лежал, стала проваливаться, словно в ней открылась дыра. Он стал падать в сырую тьму, как в могилу, увлекаемый слепым ужасом.

Вдруг задержался над бездной и висел на тонких нитях, слыша, как грохочет сердце. Нити, на которых он висел, рвались одна за другой.

— Господи! — простонал он, стараясь удержаться на нитях, которые связывали его с миром, не пуская в могилу. — Господи!

С великим трудом, чувствуя раскалённую боль в груди, он перебрался в кабинет. Позвонил дочери:

— Вера, мне плохо!

— Что с тобой, папочка?

— Мне очень плохо. Сердце.

— Я сейчас приеду. Доктора возьму и приеду!

Те два часа, что дочь добиралась до него из Москвы, он лежал под разноцветным светильником и слушал своё сердце. Оно грохотало, подсакивало, замирало. Опять начинало скакать, словно мяч, отлетающий от стены. Он был весь липкий от пота. Ёдал, когда разорвутся последние нити, на которых висело и дёргалось в груди его сердце. И он умрёт.

Дочь привезла с собой доктора. С брюшком, с золотистой бородкой, он напоминал чеховских персонажей-врачей.

— Стало быть, сердечко себя обнаружило, Дмитрий Фёдорович? Давайте послушаем, какое у нас сердечко, — доктор прикладывал к его груди холодное рыльце трубки, перемещал от соска к рёбрам. — Пугливое у нас сердечко, ох, пугливое.

Он измерил Кольчугину давление, сделал внутривенный укол.

— Подождём до утра, какое будет у вас самочувствие. Если не станет легче, придётся госпитализировать. Мерцательная аритмия опасна тем, что способствует образованию тромбов. А пока постарайтесь уснуть. И в дальнейшем никаких перегрузок! Отключите телефон, телевизор. Даже окна закройте. Вам, Дмитрий Фёдорович, нужен длительный отдых. Увы, вы не мальчик. Нужно жить по средствам, какие оставляет нам природа.

Доктор направился к выходу. Дочь сказала:

— Я отвезу его обратно в Москву. Буду тебе звонить. А утром приеду. А то Тим-Тим у меня расхворался. Какие у меня мужчины уязвимые!

Он остался один и лежал под разноцветным фонарём, стараясь разглядеть среди стёкол изображение медведя, которое однажды явилось ему в детстве, а потом исчезло. После укола и таблеток ему стало легче. Сердце притаилось в груди, как в норе, и лишь иногда испуганно вздрагивало.

Страх прошёл. Это был обычный приступ, который отступал после приёма лекарств и двухдневного отдыха. Завтрашняя поездка казалась возможной. Он будет дремать в машине, будет дремать в самолёте. Работа, которая ему предстоит, мобилизует организм, откроет скрытую кладовую энергии, и он забудет про сердце.

Позвонила дочь, и он постарался её успокоить. Позвонил сын, которому дочь рассказала о его недомогании. Кольчугин был тронут вниманием детей.

Была глубокая ночь, но сон не приходил. Сердце успокоилось. Он перекрестил его у себя в груди и решил выйти в сад — там вольнее дышалось.

Стояла тьма, прохлада. Пахло вянущей листвой, флоксами, ароматами близкой осени. Над вершинами берёз туманно текли звёзды. И он вспомнил, как совсем недавно, в марте, сверкали среди тающих снегов белые стволы, и в розовых вершинах сияла ослепительная лазурь.

Он сел за деревянный стол, над которым рябина свесила отягчённые ягодами ветки. Далеко, едва видимый сквозь деревья, снижался самолёт, приближаясь к Шереметьеву. Уже включили огни, бриллиантами переливались иллюминаторы. Кольчугин вспомнил, как они с женой любовались этими ночными бесшумными самолётами, и жена сказала: “Они похожи на каравеллы, полные драгоценных камней”.

Кольчугин думал, как завтра начнётся его поход, один из бесчисленных походов его жизни. Туда, где бьёт артиллерия, рушатся города и где ждёт его ненаписанная книга. И его молодой герой Николай Рябинин пройдёт сквозь огненные руины...

Замысел книги был неясен, жил под сердцем, как таинственный эмбрион, которому предстояло родиться. Рос, наливался соком, начинал трепетать, колотился в стенки тесного лона. Сердце взбухало, больно ударялось о грудь, словно стремилось наружу. Кольчугин прижимал ладони к груди, удерживая сердце. Но оно, как ядро, ударило изнутри, прорвало грудь, открывая в нём рваную большую дыру. Яростная счастливая сила вырвалась на свободу, молодой восторженный странник покинул тесную обитель и умчался вдаль, оставляя в ночи гаснущий след.

Кольчугин с разорванным сердцем упал головой на стол. Рука его бесильно свесилась. Он лежал под ночной рябиной среди туманного свечения звёзд.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Николай Рябинин, двадцати пяти лет, стремился в мир, сияющий, стоцветный, жадно поглощая зрелища этого необъятного мира. Он желал запечатлеть эти зрелища в своих литературных творениях, остановить бег событий, спасти их от забвения. Его первые художественные опыты напоминали неумелую охоту за бабочками, когда ловец хватает руками сидящий на цветке “павлиний глаз”, а бабочка улетает, оставляя на пальцах фиолетовую пыльцу и кусочек крыла.

Рябинин предлагал свои рассказы и повести в журналы и книжные издательства, неизменно получая отказ. В глянцевах журналах, среди сверкающих автомобилей и целлюлоидных красавиц ему не было места, как не было места и в толстых литературных журналах, напоминавших сумрачные музеи. В издательствах ему отказывали, ссылаясь на увядание литературы, умирание книг, исчезновение читателя. Читателю скучно разбираться в интеллигентских исканиях какого-нибудь унылого филолога или тоскующего музыканта. Издатели ждали книги, которая разбудит сонного читателя, расшвыряет, как взрыв, блеклые повествования худосочных авторов, ознаменует начало новой литературной эпохи.

Такую книгу задумал Рябинин. К такой книге влекла его молодая неутолимая страсть. Таинственный поток, подхвативший его в свою загадочную стремнину. Сама история, коснувшаяся Донбасса своим жестоким перстом, когда каждый удар перста сметал с земли города и посёлки, оставляя полные дыма воронки от снарядов.

Рябинин решил уехать в Донбасс и там, на войне, найти своих героев и написать заветную книгу.

Он был молодым инженером, которого в институте учили строить самолёты. Но его увлечение скоростями и геометрией крыла, теорией воздушного боя и волшебными материалами, лёгкими, как пух, и прочными, как гранит, — эти увлечения растаяли. Они сменились пьянящей сладостью, когда в обычных словах вдруг начинает звучать чудесная музыка, способная повесть о снах, обожании близких, воспоминаниях младенчества и предчувствии будущей смерти. Он складывал слова, и вдруг появлялось видение сиреновой колокольни в сумерках московского переулочка или сизого льда на замёрзшей луже, в которую вморожен красный осиновый лист. Или бабушкиной седой головы, на которую падает бледное апрельское солнце, и он пугается мысли, что когда-нибудь креслице, где дремлет бабушка, останется навеки пустым.

Он оставил своё самолётное дело, огорчив родителей, и отправился странствовать. Как ловец выхватывает из потока ослепительных рыб, так выхватывал он из окружающего мира яркие образы, волнующие впечатления, людские судьбы. Переносил их в свои рассказы, где они замирали, останавливали свой бег, сберегались навеки. Он работал геологом в тувинской тайге, на берегу Енисея, по которому плыли звенящие льдины, и на одной скакала и ржала обезумевшая лошадь. Был послушником в монастыре, обирал яблоки в монастырском саду и видел, как упал ниц под яблоней измождённый монах и, рыдая, целовал землю. Водил туристов в хибинской тундре и чуть не замёрз, когда на спуске с перевала стали ломаться лыжи, и люди комьями валились в долину, а потом брели по морозу под розовой зарей, превращаясь в ледяные скульптуры.

Теперь он устремился в Донбасс. Там была его книга, её простреленные пулями страницы. Он сказал родителям, что собирается в Сочи, к морю. Не сообщил подруге, в какое очередное странствие отбывает. Связался с людьми в Москве, которые собирали добровольцев. Предъявил военный билет офицера запаса, заверив, что умеет обращаться с автоматом и даже держал в руках гранатомёт. И после нескольких встреч и проверок вылетел самолётом в Ростов.

Телефонные звонки, похожие на пароль фразы, ночёвки в пригородных пансионатах. Наконец, молчаливый, сумрачного вида парень привёл Рябинина в дом, где собрались добровольцы, рвущиеся на Донбасс. В обшарпанной комнате пансионата они ждали проводника, который отправит их к границе.

Рябинин оказался в пёстрой компании. Пожалуй, при иных обстоятельствах столь разные люди никогда бы не встретились.

Здесь был молодой чеченец Адам из Шатоя, с рыжеватой бородкой и зелёными тигриными глазами, которые пылали под жёлтыми бровями. Осетин Мераб из Цхинвала, с одутловатыми щеками, заросшими синеватой щетиной. Калмыцкий казак Валерий, с коричневым скуластым лицом и кошачьими усиками. Кубанский казак Лубенко, похожий на Николая Второго красивыми усами и золотистой бородкой. Боснийский серб Драгош, подвижный, вёрткий, с горбатым носом и насмешливыми кривыми губами. Каталонец Аурели, с лиловыми печальными глазами и тихими вздохами. И он сам, Рябинин, уже приступивший к написанию книги.

Он поместил в неё своих новых знакомцев, раздумывая над тем, какую судьбу он им уготовит среди будущих боёв и пожаров.

— Ну, а ты, Лубенко, почему ты поехал? — допытывался Рябинин у кубанского казака.

— Наше дело казачье, военное, — казак пропустил сквозь пальцы золотой шёлк бородки. Он был в казачьем мундире с золотыми погонами. Тёмно-синие штаны с лампасами погружались в щеголеватые сапоги. Грудь усыпали кресты и медали, Бог весть, за какие походы. — Пошел к батюшке. “Благослови, отец Пётр, заступиться за русскую землю”. “Ступай, сразись за други своя. Казак, он и есть воин Христов”. Вот и поехал. Не мог на диване отлёживаться, когда русских в крови топят.

— А ты, Адам?

Чеченец польхнул на Рябинина зелёную глаз и оскалился, цокнул розовым языком.

— Брата моего Доку уккры, суки, убили. У Басаева уккры воевали, ненавидели русских. Снайпер один был, позывной “Палач”. Он брату пулю между бровей всадил. Я сказал: “Мама, поеду кровника отыщу, который Доку убил”. “Поезжай, сынок”. Я их там мочить буду за брата. Я “Палача” отыщу, и уши его в Шатой привезу, — Адам что-то добавил по-чеченски, злое и короткое, как лязг затвора.

— А ты, Мераб? Донбасс далеко от Осетии.

— С грузинами вместе бандеровцы осетин убивали. Моего отца до полусмерти избили. Если поймаю укра, привяжу к дереву и буду бить, пока рёбра ни вылезут. У отца моего рёбра сквозь кожу вылезли. “Поезжай, сынок, найди того, у которого змея за ухом наколото. Он злее всех меня бил”, — на толстых щеках осетина сквозь синюю щетину проступили малиновые пятна.

— Ну, а ты, Валерий? — спросил он у калмыка с кошачьими усиками. — Где Калмыкия, а где Украина?

— Всё рядом. Мой прадед служил в калмыкском казачьем войске. Георгия получил на турецкой войне. Калмыки России всегда служили. И я послужу. Меня атаман отпустил. Сказал: “Если убьют, не бойся. Семью не оставим”. А я не боюсь. Пусть меня бояться, — он хмыкнул, топорща колючие усики.

— Ту Донбасс Америка, НАТО рат... В Донбассе Америка, НАТО воюет, — серб Драгош задвигал острыми нервными плечами. — Америка бомбордовала Сербия. Мостов бомбордовала, путей бомбордовала, децу бомбордовала. Сербия била, мосты взрывала, дороги взрывала, детей бомбила. Америка Милошевича убию, Караджича мучи, Младича мучи. Америка Россию бомбить хочет. Я Америка стрелять буду. Дайте “калашников”, дайте РПГ. Амерички танк подстетитати... — он приподнял руки, будто подкинул автомат, нажимая крючок. Сменил автомат на гранатомёт, наводя его на невидимый танк. Раздул щеки и ухнул, изображая выстрел.

Каталонец Аурели, не понимая по-русски, водил лиловыми глазами, и когда Рябинин обратился к нему: “А ты, Аурели?” — тот певуче зарокотал, зацокал, поднял сжатый кулак и произнёс: “Венсеремос!”

Все они явились из разных мест. Всех подхватил огромный ветер. Ревущий ураган толкал их в будущее. Этим будущим был восставший Донбасс. Этим будущим была его ненаписанная книга. И все, кто находился в этой уютной комнате, ожидая проводника, были героями его книги, героями загадочного грозного будущего.

Часы шли, за ними никто не являлся.

—обеда нет, лепёшка есть, — произнёс чеченец Адам и стал рыться в дорожной кошёлке. Извлёк чистое полотенце, постелил на столе. Вытащил круглую, домашней выпечки лепёшку. Расширяя и сужая тигриные глаза, осмотрел всех и ловко, бережно разломал лепёшку на семь частей. Рябинин почувствовал, как сладко дохнуло хлебом. — Мама пекла. — Адам указал на лепёшку, приглашая всех угощаться. И все благодарно брали ломти, осторожно жевали. Рябинин старался запомнить просветленное лицо чеченца, руки, которые тянулись к хлебу. Думал, как опишет в книге обряд преломления хлеба, в котором все они братались, отбывая на неведомую войну.

Под вечер явился проводник. В грязном камуфляже и стоптанных кроссовках, горбатый, крючконосый, с седой копной волос и колючими глазами, он был похож на колдуна. Ему не хватало лишь филина на плече, и Рябинин подумал, что этот чародей уже знает судьбу каждого, кого поведёт на войну.

— И куда вас несёт нелёгкая? Сидели бы дома, может, до старости бы дожили. — Колдун сверкнул глазами. Пересчитал людей и сверился со списком. Повёл на выход, где стоял подержанный микроавтобус.

— Если останоят, говорите, что едете на ферму, строить коровник. Паспорта не отдавать. Хотя на что они вам, паспорта? — и полез на сиденье водителя.

Автобус катил по Ростову. Город сверкал, кипел, бурлил, как плавильный тигель. Выплескивал раскалённые брызги, шелестел машинами, распаивал витрины, двери ресторанов, стеклянные фасады торговых центров

и знать не хотел о войне. Он хотел торговать, наслаждаться и не замечал крохотный микроавтобус, в котором семеро людей неслись на неведомую войну.

Катили по шоссе, мимо нарядных домов, узорных заборов, магазинчиков с пёстрыми вывесками, мимо строительных рынков и бензоколонок. Промчался навстречу свадебный кортеж с лентами и цветными шарами. Промелькнула дымящая жаровня — шашлычник поворачивал шампур с мясом.

Рябинин смотрел на мелькавшие лица с печальной любовью. В своих хлопотах и страстях они не ведали о нём, не знали, что он покидает их и, быть может, навсегда. Стремится навстречу смертельным опасностям, на неведомую войну, о которой, если останется жив, напишет неповторимую книгу. Он не осуждал этих людей, живущих обыденной жизнью и не замечающих старенький микроавтобус. Прощал им их неведение.

Внезапно автобус шарахнулся, застучал и зашлёпал. Встал на обочине. Водитель, ворча и ругаясь, вылез из машины. Рябинин покинул салон и увидел пробитое колесо.

— Подорвались на mine? — похохатывал казак Лубенко, глядя, как водитель отвинчивает болты. Его щеголеватые сапоги блестели, золотые погоны сияли. Он расхаживал по дороге, желая привлечь внимание тех, кто проносился мимо.

— Отец, давай помогу, — калмык Валерий подставлял домкрат.

— На таком “Мерседесе” до Киева хочешь доехать? — чеченец Адам вытаскивал из багажника запасное колесо.

Кто как мог, все помогали водителю. Косматый колдун, набрасывая ключ на болт, глянул на них сердитыми глазами:

— Боженька вам знак подаёт. Не пускает. А вы, дураки, свою смерть торошите. Обрати в гробах вернёте. Поворачивайте, пока не поздно. Чтоб мамки ваши слёз не лили.

— Да что ты, отец, нас хоронишь! Мне батюшка сказал: “Ступай, послужи Отечеству и матери нашей Православной Церкви”. Казак для войны рожден. “Или грудь в крестах, или голова в кустах”, — так наши деды говорили. — Лубенко молодецкато погладил золотой царский ус.

— Чего говоришь! Если я в Донбасс не доеду и в село вернусь, в меня плевать будут. Мама сказала: “Отомсти за брата”. Мне “калалшников” дайте, гробы хохлацкие пустыми не оставлю, — чеченец Адам обнажил в злой улыбке яркие зубы.

— Имам брата Виктор, — серб Драгош желал объяснить, — е из Воронеж... Братушка Витя был, Воронеж... Борио у Сараево... Воевал Сараево... Пуца из топи офи... Из пушки стрелял точно. Ему пуля сюда, — серб Драгош ткнул себя пальцем в глаз. — Он Сербия помог, я Россия помог... Ти мой брата... Вы мои братушки.

— Никогда на себе не показывай. А то и тебе в глаз запуляют, — получал его калмык Валерий. — Правильно говорю? — обратился он к осетину Мерабу и каталонцу Аурели. Осетин сурово кивнул, а каталонец, не понимая языка, певуче загудел, зарокотал. Поднял сжатый кулак:

— Венсеремос!

Колесо сменили. Все уселись и двинулись дальше. Пригороды кончились, а вместе с ними и многополосная трасса. Затряслись на разбитом асфальте, среди вечерних полей, зелёных, золотистых и розовых. Миновали чахлую рощу и покатали по просёлку среди пыльных бурьянов. В сумерках достигли поля, на краю которого стоял “КамАЗ” и ходили люди.

Колдун заковылял к ним и вернулся назад с человеком, который сильным простуженным голосом произнёс:

— Я говорил Зубатому. Больше пяти не возьму. Мне что, боекомплект выкидывать?

— Я тебе заработок добываю, Колун. Ты “спасибо” скажи, — сердито ответил колдун. — Давайте, сыночки, вылазьте. Теперь вот этого слухайте, а я домой. — Он сел в автобус и укатил, брызнув из бурьяна хвостовыми огнями.

— Слухай сюда, — человек по кличке Колун сделал сгребаящий жест. Он был в камуфляже, тяжёлых бусах. В сумерках его лицо казалось бес-

форменной глыбой. — Дорога часов шесть, как придётся. “КамАЗ” без брезента. Если что, через борт сигайте, и дёру от машины. А то накроет. Сидеть будете на боекомплекте. Одно попадание, и яйца ваши по степи собирать. Не курить. Укры в засаде вас по сигаретам вычислят. Снайперы. У меня всё.

— Оружие где дадут? — спросил Лубенко. — Чем отбиваться?

— Я все сказал, — Колун повернулся и двинулся к “КамАЗу”.

Адам отошёл в сторону. Достал с груди платок, постелил на землю, ступил на него и стал молиться.

Рябинину казалось, что молитва чеченца колеблет тёмные травы, раздвигает сумрак, порождает трепет зари. Ему чудилось, что над молящимся начинается брезжить лазурь. В эту лазурь неслись бессловесная хвала Творцу, который привёл их в ночную степь, вырастил в степи травы, зажгёт зарю. Кто ведёт их на войну и не оставит в минуту опасности, а в минуту смерти унесёт их души в лазурь.

Рябинину хотелось устремить свою молитву в открывшееся над головой Адама пространство, соединить свое моление с его чеченским молением, сочетаться с ним немеркнувшей зарей, вянущими травами, негасимой лазурью. Тронув натальный крест, он молился, сливая свою молитву с молитвой чеченца. Верил, что оба они неразлучны в лазури.

— В машину! — рыкнул провожатый. И все повскакали в кузов.

— А где Украина? — спросил Рябинин, пробегая мимо предводителя.

— Считаю, ты уже в Украине.

Грузовик катил по бездорожью, с робким светом подфарников. В кузове было тесно, сидели плечом к плечу. На кочках постукивали зарядные ящики — то ли с минами, то ли с танковыми снарядами. Рябинин чувствовал рядом плотное тело осетина Мераба, которое то наваливалось на него, то отстранялось. И эти колыханья, трясенье снарядов, ямы и бугры бездорожья были тревожными ритмами, которыми встречала их воюющая земля.

Стояла ночь, только на западе слабо синела заря. Ветер летел из степи, и Рябинин чутко вдыхал, стараясь по запахам, словно зверь, угадать, что скрывает окрестная тьма. Пахло сыростью и тлением, когда грузовик ухал в водяную рытвину. Пьяно, вызывая лёгкое жжение ноздрей, благоухали раздавленные стебли полыни. Вдруг налетали сладкие медовые ароматы, где-то рядом пропыхивало поле подсолнечника. Иногда ему мерещился запах дыма — то ли мирного домашнего очага, то ли далёкого пожара.

Рябинин с нежностью и виной думал об оставленных в Москве родителях, которые в этот час собрались в столовой под абажуром и говорят о нём, не ведая, что он трясётся на зарядных ящиках в кузове “КамАЗа”, идущего по ночной степи, думает о них, и мысли их встречаются где-то над макушками подсолнухов. Думал о подруге, о её насмешливых зелёных глазах, розовых нежных ладонях. Он прижимал их к губам, целовал её “линию жизни”, и она со смехом говорила, что его поцелуй продлевают ей жизнь.

Впереди у дороги зажглись два красных рубиновых огонька. Исчезли. Снова загорелись чуть в стороне. Рядом зажглись два зелёных, изумрудных. Переливались, вздрагивали и погасли. Их сменили золотые, страстные и трепещущие. Грузовик встал. Огней становилось больше. Они менялись местами, метались, поднимались в небо, текли, создавая мерцающие узоры, как таинственные светляки, загадочные духи, растревоженные появлением чужаков. Из кабины высунулся провожатый Колун. В его руках тускло блеснул автомат.

— Собаки, мать их ети. Стаями, суки, бродят. Села разбомблены, народ убежал, а собаки остались. Стаями рыщут. Где пададь найдут, там и жрут. Где-то здесь, видать, трупы валяются.

— Так и нас сожрут, не дай Бог! — это произнёс Лубенко, и в голосе его была дрожь.

Водитель включил фары. Серебром полыхнула трава, и множество гибких тел, красных языков, ненавидящих глаз метнулись прочь и исчезли в ночи. Свет погас, грузовик продолжил движение.

Ехали час или два по белёсому, мучнистому просёлку, который слабо светлел в ночи.

Рябинин вдруг уловил кислый запах гари, ядовитое зловонье сгоревшей резины. “КамАЗ” остановился возле чёрной бесформенной груды, от которой исходило зловонье. Провожатый встал из кабины.

— Так вот он куда заделался, Горыныч! Здесь его ждали укры!

Рябинин угадал в рыхлой бесформенной грудке остов грузовика. Просев на ободах, лишённый кузова, с раскрытым капотом, грузовик был изучен ударом, сожжён огнём. Он источал кислый и тёплый запах ржавчины, липкую вонь сгоревшей резины и тонкие сладковатые запахи яда разложившейся плоти.

— “Спелый”! “Спелый”! Я — “Колун”. Ответь! — провожатый гудел в рацию, перебросив на локте автомат.

— Куда они нас завезли? Подстава какая-то! — жалобно воскликнул Лубенко.

— “Спелый”! “Спелый”! Я — “Колун”! — хрипел в рацию провожатый.

Рябинин почувствовал страх — ноющей грудью, замерзшими вдруг лопатками, плечом, которым касался соседа. Через это плечо его страх передавался соседу и возвращался обратно. Страх был общим. Все смотрели в одну сторону — на взорванный грузовик.

Рябинину казалось, что в чёрном остове, среди разорванного железа и зловонной резины притаилось чудище, косматое, как взрыв, свирепое, кровожадное, готовое с рёвом вырваться, наброситься на добычу, сгрести когтями и, чавкая, изжевать и выплюнуть, как выплюнуло этот растерзанный грузовик.

— Я — “Колун”! Я — “Колун”!..

— Что здесь было? — спросил Рябинин.

— А то и было, что укрупы грузовик раздолбали с такими же, как вы, охламонами. Здесь по степи укрупские диверсанты шастают. Одну грушпу наши сгребли, штаны с них спустили, автоматы приставили и дали очереди. Теперь укры наших ловят.

— Господи, помилуй! — тихо ахнул кубанский казак Лубенко.

В стороне, догоняя друг друга, полетели красные угольки, метнулись бесшумные белые иглы. Через мгновение донёсся стук автоматов, хрустящие очереди. Польшнул далёкий взрыв.

— А ну, вертай назад! — крикнул провожатый водителю и скрылся в кабине. Грузовик рванулся, круто повернул и помчался, подпрыгивая на ухабах. Все обратились лицом в степь, где шёл бой, летели трассёры, стучали очереди, дергалось пламя взрывов.

Грузовик удалился от места боя и встал. Провожатый вылез из кабины и пошёл осматривать обочину, светя фонариком. Вернулся, сказал, обращаясь к шоферу:

— Пойдём левее. Там топь, туда никто не съётся. Только сам не утопни. А то тебя укры из болота за яйца вытащат.

Завели мотор. Грузовик стал осторожно переезжать рытвину. Лубенко вскочил и что есть мочи заколотил по крыше кабины.

— Чего тебе? — вылезла голова провожатого.

— Стой, я сойду! Не поеду!

— Дура, куда пойдёшь? В болоте утопнешь!

— Всё равно уйду! Не могу! — он стал перелезать через борт.

— Ты куда, собака? Ты, казак, икону целовал! — калмык Валерий старался схватить его за рукав.

— Не держите! Не могу! Чую, что убьют!

— Тебя и так убьют, или кобели разорвут.

— Не могу! Не судите! В монастырь уйду, у Бога прощенье вымолю. А сейчас не могу!

Лубенко спрыгнул на землю, махнул рукой — то ли прощался, то ли отмахивался — и исчез в темноте. Слабо блеснули его золотые погоны.

Чеченец Адам плонул ему вдогонку.

Продолжали катить в ночи. На Рябинина навалилась сонливость. Он то клонился на плечо Мераба, то испуганно вздрагивал на ухабах. Уснул, уронив голову к коленям. И ему, под стук зарядных ящиков, приснился подмо-

сковный осенний лес, по которому они идут с подругой, и она о чём-то ему говорит, о чем-то восхитительном и прелестном.

Проснулся, когда было светло. Грузовик стоял на шоссе перед бетонными брусками. К машине шли ополченцы. Один в зелёной, лихо повязанной косынке, с курчавой бородкой, с автоматом на голом плече, где синела татуировка экзотического дракона. Другой — с косматой щетиной, в каске и распахнутой куртке, под которой пестрела тельняшка.

— Здорово, Колун!

— Здорово, Валет! Здорово, Морпех!

Они обнимались, похлопывали друг друга по спинам. Отошли и курили, о чём-то переговариваясь.

Рябинин, очнувшись от сна, рассматривал блокпост: вырытую на обочине траншею, мешки с песком, из которых торчал пулемёт. У соседних строений были проломлены стены. В саду среди яблонь стоял БТР.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Донецк, по которому катил “КамАЗ”, был солнечный, сверкающий, праздничный, с чудесными скверами, искристыми фонтанами, ухоженными фасадами. Среди сталинских колоннад и пышных фронтонов драгоценно мерцали супермаркеты и развлекательные центры. Былолюдно, катили машины. За чугунной оградой сквера краснели розы. Рябинин удивлялся, тот ли это город, который подвергается ударам с земли и воздуха, отражает атаки отборных войск Украины. Но, вглядываясь внимательней, замечал фасады с уродливыми проломами, дома с зияющими проломами вместо окон, над которыми, как косматые брови, чернели кляксы копоти. Среди разноцветных автомобилей возник грузовик с вооружёнными ополченцами. Следом прокатил гусеничный тягач с пушкой на прицепе. В холёном “лендровере” за рулём находился человек в камуфляже, на заднем сидении теснились три автоматчика. И время от времени где-то далеко за домами раздавались глухие удары, будто забивали сваи.

Город напоминал Рябинину спелое яблоко, которое слегка надкусили: на глянцевитой, алой поверхности виднелся след от зубов дракона.

— “Козерог”! “Козерог”! Я — “Колун”! Привёз пополнение. Куда теперь двигать? — провожатый поднял голову из кабины, дышал в рацию. Его лицо, похожее в темноте на булыжник, теперь казалось мужественным, суровым. Рука, сжимавшая рацию, была в перчатке без пальцев. В движениях присутствовала тяжёлая грация. — Понял тебя, “Козерог”! На площадь, на площадь! Скажи своим в оцеплении, чтобы нервы не мотали!

“КамАЗ” проник сквозь оцепление и выкатил на площадь, просторную и сияющую, окружённую помпезными фасадами. Было множество народа — шёл митинг, — развевались знамена, гремела музыка. Ленин на постаменте возвышался над трибуной, плотный, упорный, незыблемый. Площадь приветствовала “КамАЗ” радостным гулом.

Все, кто находился в кузове, поднялись в рост и стояли, наблюдая за площадью.

Над толпой реяли флаги. Много красных, с серпом и молотом. Российские триколоры с золотыми орлами. Андреевские — с голубыми крестами. Чёрно-золотые — имперские. Были алые флаги с синим Андреевским перекрестом — символы новой республики. Были красные хоругви с ликом Спасителя. Полотнища колыхались. Гремели песни. “Комбат, батяня”, “Я люблю тебя, Россия”, “Вставай, Донбасс”.

Калмык Валерий, глядя на площадь, радостно крестился. Серб Драгош крутился во все стороны, изображая пальцами знак победы. Каталонец Аурели воздел сжатый кулак.

Рябинин обнимал взглядом площадь, вслушивался в знакомые и незнакомые песни. Эта солнечная площадь была наградой за ночные страхи и дурные предчувствия. Он влился в это плещущее многолюдье. Здесь он был среди своих, среди братьев, был готов сражаться, был непобедим.

К “КамАЗу” протиснулся худой ополченец с длинным смуглым лицом и играющими глазами. Зелёная косынка “бандана” придавала ему сходство с корсаром. На нём был жилет с множеством карманов, из которых торчали рожки автоматов, гранаты, рация, пакеты, флаконы. На ремешке висел “стечкин” в лакированной щегольской кобуре. На груди красовался бант из георгиевской ленты.

— Здравия желаю, — он козырнул прибывшим. — Я Козерог, командир батальона “Марс”. Поступаете в моё распоряжение. Здесь, на митинге, получите оружие. Потом на базу. А вечером — в бой. Как с парада сорок первого года. Следуйте за мной.

Все соскочили на землю, протискиваясь за командиром туда, где близко к трибуне выстроилась цепь ополченцев. В пятнистом камуфляже, поблескивая автоматами, в стальных касках, они были похожи на тритонов. Рябинин, стараясь запомнить удачное сравнение, встал в строй.

На трибуне толпились военные и гражданские, все с георгиевскими лентами на груди. Выступал плечистый, бритый наголо военный, с рыжей косой бородой, скрывавшей глубокий шрам. Этот шрам мешал ему говорить, и он с силой выталкивал причинявшие ему боль слова:

— Товарищи, я офицер российской армии, прошёл Чечню, навоевался, но приехал сюда, воевать за родной Донбасс! Я командир батальона “Аврора”, позывной “Курок”. Говорю вам от имени шахтёров и металлургов пролетарского Донбасса! Наше восстание взрывает тюрьму, в которую превратили мир проклятые банкиры и олигархи! Революция, которую мы совершили, — это долгожданная весна всего человечества! Выстрелы наших пушек слышит земля, как слышала она выстрел “Авроры”! Мы строим государство трудового народа, сбросив с плеч миллиардеров, воров и бандитов! Мы возвращаем народу шахты, железные дороги и заводы, которые построил великий Советский Союз! Мы сражаемся и гибнем под пулями карателей не только за Донецк и Луганск, Макеевку и Красный Лиман! Мы сражаемся за всю Новороссию с нашими цветущими городами Николаевом и Одессой, Днепропетровском и Запорожьём, Мариуполем и Харьковом! Но не только за Новороссию — за всю родную Украину, которую захватили в свои когтистые мохнатые лапы бандеровцы и фашисты! Мы сражаемся за весь земной шар, за всё человечество, которое вслед за нами ломает стены мировой тюрьмы! В наших донецких степях началась мировая революция! Ополченцы, поджигающие танки на окраинах Донецка, зенитчики, сшибающие на землю кровавых фашистских лётчиков, медсёстры, бинтующие раны наших героев, — они спасают не только родные дома и родные могилы, но и всё человечество! Да здравствует Новороссия! Да здравствует Советский Союз!

Рыжебородый комбат произнёс свою бурную речь и в изнеможении отступил в глубину трибуны.

Площадь ликовала. Кольхались знамёна, особенно много было красных, пламенных, со звездой и серпом и молотом.

Рябинин восхищённо внимал. Оратор угадал его чувства, нашёл для них огненные слова.

Рябинин оставил свой дом, милых родителей, любимую девушку, чтобы участвовать в этом весеннем походе. Сражаться и, если придется, сложить свою голову за великую идею земли.

Он видел лица в толпе. Тяжёлые, утомлённые трудами на заводах и в шахтах, в окалине и угольной пыли, эти лица вдохновенно светились, словно из-под насупленных бровей их глаза углядели чудесную мечту, которая вдруг открылась среди беспросветных трудов и унылого течения дней. Преображенные, они уже не расстанутся с этой мечтой, за которую будут биться, вступая в ряды батальонов.

К микрофону шагнул седовласый человек в очках, в камуфляже, грубых ботинках, с автоматом через плечо, с таким же георгиевским бантом на груди.

— Я обыкновенный школьный учитель. Преподавал детям русский язык и русскую литературу. Мы читали Пушкина, Гоголя, Есенина, Толстого.

Все эти великие русские художники учили добру, красоте, справедливости. Они воспевали природу, проникали в тайны человеческой души, объясняли, как душа связана с Богом. На русском языке говорили великие подвижники, философы, полководцы. Полагают, что русский язык был создан, чтобы на нём разговаривали Ангелы. И этот божественный язык, язык моих предков и моих потомков, язык, которым на могильном камне напишут моё имя, — этот язык хотят украсть киевские изуверы. Хотят отнять у меня мои русские мысли и мои русские чувства. Хотят духовно меня убить. Вот почему я оставил школу, взял автомат и теперь собираю батальон под названием “Пушкин”. Мы воюем за русское дело, за русское слово, за Тютчева, Блока и Шолохова, за государство свободных русских людей — за Новороссию! И государство наше будет русским в том смысле, в каком понимал это Пушкин. Русский — значит, всемирный, открытый миру. Мы предложим миру нашу русскую любовь и справедливость, русскую доброту и божественную красоту. Мир, покорённый бездуховными злодеями, тоскует по русской правде.

Он тряхнул сединами, подбросил на плече автомат, поправил очки и отступил. Площадь ликовала. Люди тянулись руками к сцене, словно обожали его. Рябинин ликовал вместе со всеми. Он пришёл сюда воевать за Пушкина, за Тургенева, который воскликнул: “О, великий, могучий и свободный русский язык”!

В толпе, среди икон и хоругвей, он заметил странного знаменосца. На голове его был вязаный чепец с георгиевской лентой. Лицо было красное, словно ошпаренное. Одет он был в разноцветные, одна на другую, рубахи и кофты и был похож на лоскутную бабу, которую ставят на чайник. В руках он держал шест, на котором развевались цветные ленты и позванивали бубенцы. Иногда он встряхивал шестом, пританцовывал, кружил на месте, напоминая шамана или африканского жреца. Всё, что происходило на площади, волновало его. Он воздевал свой шест, стараясь поднять его как можно выше. Ему не мешали, видно, он был неизменным участником подобных торжеств.

Теперь со сцены вещал батюшка в чёрном подряснике, поверх которого был надет разгрузочный жилет, из карманов торчали автоматные магазины. Борода у батюшки съехала на сторону, словно её смёл ветер. Из-под военной картузы виднелась тугая косица. На груди сиял крест.

— Братья и сестры, спросим себя, чего хотим мы, оставившие свои очаги, рабочие места, служение в учреждениях и даже в храмах? Мы толком не ответим, но все сойдёмся на том, что хотим жить в стране, где все поступают по совести. А что есть совесть? Это звучащий в душе голос Божий. Значит, мы хотим жить в стране, построенной по Закону Божьему. А Закон Божий есть божественная справедливость, которая соединяет человека с человеком, человека — с народом, народ — с государством, а государство — с Господом Богом. Из Новороссии свет Православия хлынул когда-то по всей Руси и превратил Россию в Святую Русь. Отсюда, от нас, пошла православная империя, и теперь, от нас, она вновь возродится. Но нет империи без императора, и здесь, в Новороссии, уже присутствует среди нас будущий Государь Император. Может, он танкист, а может, артиллерист, а может, комбат. Сейчас он не виден, но скоро откроется. И когда нас станут спрашивать, за что мы воюем, мы твёрдо ответим: “За Веру, Царя и Отечество”!

Площадь ликовала. Страстно волновались красные знамёна с серпом и молотом. Колыхалась хоругвь со Спасом. Плескалось георгиевское полотнище. Звенели бубенцы на шесте шамана. Все были едины, нераздельны и неразлучны. И Рябинин был принят в это восхитительное братство.

На сцену поставили ящики, в которых лежали автоматы. Говорил комбат Козерог в пиратской косынке, с красочным “стечкиным” на бедре.

— Граждане свободного Донбасса! Сегодня, на этой праздничной площади, мы отмечаем рождение батальона “Марс”. В нашу вольную донецкую степь бандеровские поджигатели принесли чёрный огонь войны. Они хотят превратить в пепел наши города, наши заводы и шахты, нашу свободу! Но мы отвечаем встречным огнём, алым огнём Победы! И этот праведный огонь

Победы батальон “Марс” понесёт по всей Украине, до Киева и до Львова! Не все из нас пройдут парадом по Крещатику, но имена героев золотом засверкают на монументе Свободы, который мы воздвигнем на Саур-Могиле, рядом с монументом Великой Победы! Бойцы батальона, сегодня на этой площади вы получаете в свои руки оружие! Перед лицом ваших братьев клянитесь, что не выпустите из рук автомат, даже если в сердце вам вопьётся пуля врага! Оружие, которое вы получаете, свято! На нём не остыло ещё тепло тех рук, что водружали над Берлином знамя Победы!

Козерог отдал честь, приложив к косынке заострённую ладонь. На трибуну стали подниматься новобранцы, и комбат передавал каждому автомат, перед этим целуя оружие. Новобранец принимал из рук командира “калашникова”, произносил “Служу Донбасу” и возвращался в строй.

Когда Рябинин поднялся на помост, и комбат поцеловал ствол и протянул ему автомат, в окружении ликующей толпы, родных лиц и плещущих знамён он испытал мгновенный восторг. В сердце хлынул свет. Он обожал своего командира. Обожал людей с прекрасными одухотворёнными лицами. Обожал эту землю, которую пришёл защищать и на которую, быть может, упадёт, не выпуская из рук оружия.

Автомат был близко, у самых глаз. Его ствол утратил воронёный оттенок, а цевьё и ложе были белесыми от прикосновений чьих-то горячих и страстных рук. Рябинин прижал к губам автомат, поцеловал его тёплую сталь. Он слышал, как площадь восхищённо откликается на его поцелуй.

Вернулся в строй. Увидел, как чеченец Адам стиснул автомат, и в его зелёных глазах заплескало солнце.

Он слушал ораторов, воображая, как опишет в книге этот красочный митинг.

По площади вдруг пронёсся ропот. Люди обращали лица к небу, указывали куда-то в синюю высь.

— Прилетел, сучий глаз! Значит, будут бомбить, — произнёс ополченец в каске, поднимая вверх обмотанную бинтом руку.

— Этот паук, значит, гаубицу наводит. А если летучая мышь, то авиацию, — второй ополченец в казачьей папахе с красным верхом задрал к небу седую бородку.

Рябинин стал смотреть туда, куда смотрела вся площадь. Высоко, похожий на паучка, реял беспилотник. Его плотное тёмное тельце, окружённое лапками, покачивалось и пульсировало, медленно перемещаясь над площадью.

— Мочить его! Бей ему в глаз!

Ударил автоматная очередь. Другая, третья. В небо полетели бледные трассёры, колочие росчерки очередей. Автоматные стволы тянулись вверх, грохотали. Острые пунктиры мчались к беспилотнику, исчезая в солнечных лучах.

Чеченец Адам подбросил ствол, раскрыв у прорези сверкающее зелёное око, и выпустил долбящую очередь.

Рябинин прицелился в скользящего паучка и ударил с весёлой торопливостью, чувствуя, как рвётся в руках автомат, как пули уносятся ввысь, сливаясь с вихрем других очередей.

Паучок, покачиваясь, уклонялся от пуль, а потом вильнул и скрылся за крышей пышного, с колоннами, здания. Ему вслед летели гаснущие, запоздавшие трассы пуль.

Рябинин опустил автомат, в котором замирали биения. Между ним и оружием установилась тайная связь. Они принадлежали друг другу. Автомат был его, Рябинина. А он, Рябинин, был его, автомата.

Митинг завершился. Толпа, колыхая знамёнами, уплывала с площади. Новобранцы грузились в “КамАЗ”. Рябинин видел, как светилось лицо осетина Мераба, ласкающего автомат. Как страстно оглядывал ствол и приклад серб Драгош. Как Аурели прижимал к груди подержанный “калашников”.

Раздался высокий шипящий свист, и страшно, трескуче грохнуло. На фасаде пышного дома среди колонн взбухла стена, из неё польхнул огонь, вырвался дым, и вслед за дымом стали рушиться камни, лепнина, и открылась дыра, в которой что-то дымно мерцало.

Толпа истошно взывала, взревела, со стоном и криками побежала, будто её сметал свистящий вихрь. Люди падали, роняя знамёна.

Рябинин испытал ужас, слепое безумие. Ему показалось, что треснула огромная кость, и земля вместе с людьми и домами проваливается. Он попытался перепрыгнуть борт грузовика и бежать.

Снова шипящий свист и страшный удар в отдалённый угол площади. Брызнул огонь, чёрные ошметки асфальта. Сизый дым повалил из земли, как из адской пробоины.

— Беспилотник навёл артиллерию! — произнёс ополченец в казачьей папахе. — Тикать отседова!

Рябинин стоял в кузове, забыв про свой автомат. Смотрел на пустую площадь, на которой одиноко и дико танцевал колдун с разноцветным шестом. Развевались нарядные ленты, гремели бубенцы, и колдун счастливо смеялся.

Рябинин катил в грузовике среди зелёных скверов и сверкающих фонтанов, прислушиваясь к отдалённым гулким взрывам.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Их привезли к сумрачному зданию, окружённому бетонным забором. На заборе грубой краской было начертано: “Слава Донбассу!” “Вперёд, на Киев!” У железных ворот лежали бетонные блоки, мешки с песком, стоял караул. Грузовик проехал в ворота. Сгружались, стучали подошвами, гремели автоматами. Комбат Козерог построил отряд:

— База батальона “Марс”. Здесь мы спим, едим. Отсюда идём воевать. Разберитесь по койкам. Потом обед. Потом получите форму. Оружие не сдавать. Спим с автоматом. Пока всё. Разойдись.

У входа, на каменных ступенях стояла женщина. Немолодая, в косынке, в долгополой юбке, с загорелым увядшим лицом, на котором печально и тихо светились голубые глаза. Она смотрела на проходивших мимо неё новобранцев и, казалось, жалела их и печалилась. Рябинин вспомнил похожее выражение на материнском лице, когда она наклонялась над его детской кроватью, целуя в горячий от жара лоб.

Он последним вошёл на ступени. Женщина спросила его:

— Вы откуда, сынки?

Она спросила так, как спрашивают женщины, когда на перроне, в толпе солдат ищут одного-единственного и не могут найти. Это женское, вековое, горькое тронуло Рябинина, и он произнёс:

— У вас такое красивое, родное лицо. Спасибо, что нас встречаете, — и вошёл под тяжёлые своды казармы.

Пахло карболкой. Стены были покрашены грязно-зелёной краской. В просторном сумрачном помещении стояли железные койки и тумбочки. Для новобранцев оставались не застеленными шесть кроватей. На голых пружинах стойкой лежало бельё и свёрнутый в рулон тощий матрас.

Стелились. Надевали сырые наволочки на жёсткие подушки. Клади поверх одеял автоматы. Рябинин осматривал безотрадное пространство казармы, и только в дальнем углу на тумбочке, утешая взгляд, стояла большая икона Богородицы. Перед ней светилась малиновая лампадка. И сюда доносились далёкие глухие удары.

— Обед! — крикнул появившийся в дверях толстяк в камуфляже, — Я зам по тылу Густой. Набьёте пузо — ко мне, на склад. Получите форму. Заплат не считать — пальцев не хватит. Модельеров нема. Слухай меня. Теперь вы все донецкие. А Донецк хоть и не первый город в мире, но и не второй. Донбасс своё возьмёт, где бы оно ни лежало, — он хмыкнул, давая понять новобранцам, что теперь их благополучие напрямую зависит от его расположения к ним.

Столовая помещалась рядом. Длинные столы, лавки. Окно в стене, сквозь которое подавали порции. Ополченцы алюминиевыми ложками из пластмассовых мисок хлебали борщ. Брали с подноса крупно нарезанный хлеб. Рябинин встал в очередь, видел, как забирают миски осетин Мераб,

каталонец Аурели, и бережно, боясь расплескать, несут к столу. В окне появлялось знакомое, загорелое, с голубыми глазами лицо. Полная женская рука с половником черпала из большой кастрюли борщ, наполняя пластмассовые миски. Когда очередь дошла до Рябинина, женщина посмотрела на него из окна, куда-то скрылась. Вернулась, взмахнула половником и выставила большую фаянсовую миску, полную дымящегося борща. Миска была покрыта ярким узором, птицами, цветами и ягодами. Она казалась драгоценной среди бесцветных пластмассовых посуды. Рябинин изумленно взглянул на женщину. Та молча, печально улыбнулась и кивнула ему.

— Ты ей, вроде, понравился, — усмехнулся калмык Валерий, разглядывая волшебных птиц, сверкавших глазурию. — Из такой есть вкуснее.

— Он писатель, ему положено, — сказал Адам, блеснув зелёными глазами.

Все посмеивались. Драгош прижал к виску два пальца, отдавая Рябинину честь. Аурели снял перед Рябининым несуществующую шляпу.

— Дураки, — произнёс немолодой, с небритым лицом ополченец, у которого кромки век под ресницами были в несмываемой угольной пыли. — У Матвевны три недели назад сына убило. С нами воевал. Она ему из дома тарелку принесла, из неё его кормила. Три недели этой тарелки не видел, а теперь появилась. Значит, Матвевне полегче стало.

Рябинин ел солдатский борщ, видя, как смотрят на него из окна выцветшие голубые глаза. И возникло странное чувство, что в нём, наряду с его собственной душой, поселилась ещё одна. Немолодая горящая женщина своими голубыми глазами возложила на Рябинина таинственное бремя: она увидела в нём погибшего сына.

Он закончил обедать, да и весь обед состоял из одного-единственного блюда. Подошёл к крану с водой и вымыл миску, глядя, как сверкают глазурированные райские птицы и волшебные цветы. Вместе с ним этот узор разглядывали другие глаза, таящиеся в глубине его собственных глаз.

Отнёс миску к окну:

— Спасибо, Матвевна. Очень вкусно.

— На здоровье, сынок, — слабо кивнула женщина.

Новобранцы потянулись на склад. Зам по тылу Густой выхватывал из пятнистого вороха стиральные и неглаженные рубахи и брюки и совал новобранцам.

— Ремень достань сам. Разгрузку — сам. Чепчиков нема. Касок нема. Обувка по ноге, — он плюхал на пол стоптанные тяжеловесные ботсы.

Рябинин получил комплект обмундирования. На рубахе, у нагрудного кармана, обнаружил аккуратную штотку. Чья-то старательная рука зашила отверстие, пробитое в камуфляже.

— Чего смотришь? — Густой поймал его взгляд. — Пуля два раза в одно место не бьёт. Носи вместо бронежилета — целее будешь.

Рябинин унёс обмундирование в казарму. Облекаясь в мятую, пахнущую прачечной рубаху, чувствовал слабое жжение под левым соском.

Ещё одна неведомая душа вселилась в него, и теперь он станет приютом для двух незнакомых душ, которые продлят в нём своё существование.

Новобранцы сменили своё пёстрое, разношёрстое платье на одинаковую, пятнисто-зеленую форму. Слились с другими бойцами, составлявшими костяк батальона.

К ним подошёл комбат Козерог в своей пиратской косынке “бандане”, с кобурой пистолета. Протягивал руку к одному, к другому. Одёргивал рубаху, расправлял складку. Этим заботливым командирским прикосновением приобщал новобранцев к военному братству, соединял их с собой незримой родственной связью.

— Забудьте, как вас звали до сего дня. Выходим на связь, по мобильнику или по рации, и никаких имён, только позывные. Украинцы прослушивают все разговоры. Вычислят, где вы и кто. Ты испанец? — он обратился к Аурели. — Будешь Сеньор. Понятно? Ты — Сеньор.

— Сеньор, — кивнул Аурели, ткнув себя в грудь.

— Ты серб? Так и будешь Серб. “Серб! Серб! Я — Козерог! Как слышишь меня? Приём!” — Козерог прижал к губам воображаемую рацию.

— Я Серб! Хорошо, хорошо! — Драгош, принимая игру, ответил в несуществующую рацию.

— Ты будешь Бритый, — Козерог легонько коснулся синей щетины Мераба. — А ты кто? Калмык? Так и будешь Калмык. Хороший позывной, энергичный. — Тебя как зовут? — спросил он чеченца.

— Адам.

— Оставайся Адамом. Тебе позывной сам Господь Бог придумал. Ну, а ты? — Козерог обратился к Рябинину. — Будешь Рябина. Нечего мудрить. У нас тут много деревьев, целый лес.

Новобранцы теснились на двух кроватях. Комбат дал им новые имена, как монахам, принявшим постриг, присваивают новое имя, чтобы в новую жизнь из прежней они не брали ничего — ни имени, ни судьбы.

— Теперь о войне. У вас боевого опыта — ноль. На первых порах будете рядом со мной. Взвод охраны. Стану вас натаскивать постепенно. Фильмы про войну забудьте. Лобовых атак не будет. Война миномётов, установок залпового огня, танков. Укры выжигают территорию “Градами”, затем утюжат танками, потом зачищают пехотой. Главное для нас — зарываться в землю и менять дислокацию. В плен не сдавайтесь — замучают, как в гестапо. Последнюю пулю себе. Остальному научитесь.

Наставления комбата сопровождалась отдалёнными глухими ударами, словно падали пустые железные бочки. Звук перекатывался, медленно угасал в толще города.

— Через пару часов выдвигаемся. Суть операции. Вы слышите, как бандерлоги долбят по городу? Снаряды ложатся вслепую, где в школу, где в клинику. Их батареи расположены в районе аэропорта. Аэропорт штурмует батальон “Восток”. У них и силы, и средства. У нас для штурма аэропорта пока не хватает сил. Разведгруппа доложила, что одна самоходная гаубица, “Акация”, стоит в стороне, в лесопосадках, со слабым охранением. Задача — подавить гаубицу. Взорвать её к чёрту, а лучше захватить. У батальона “Марс” нет тяжёлого вооружения, только миномёты. Будем собирать бронегруппу. Брать трофейные БТРы и танки. Будем копить артиллерию. Эта самоходка — первая. Для вас это боевое крещение. Самим никуда не соваться, только со мной. Задача понятна?

— Так точно, — Калмык нервно топорщил колючие усики. В петлице его камуфляжа уже красовался чёрно-золотой георгиевский бант.

— Теперь о главном, — Козерог переждал, пока очередной отдалённый удар не погаснет в каменной толще. — Вы не наёмники, не “солдаты удачи”. Вы добровольцы, и вместо денег будете получать патроны и кашу с тушёной. А если ранят, то повязку и тампон в медсанбате. А если убьют, то вечную славу героя, воевавшего в добровольческом батальоне “Марс”.

— Почему назвали “Марс”? — спросил Бритый, почёсывая синюю осетинскую щетину.

— Козерог, как вы стали комбатом? — Рябинин испытывал к этому хутому, с провалившимися щеками командиру острый интерес. В комбате что-то трепетало, дрожало, что-то огненное, палящее, что жгло окружающий мир и сжигало его самого.

— Спрашиваете, откуда “Марс”? Откуда Козерог? А был я когда-то, до всего этого, молоденьким архитектором в космическом центре, в Днепропетровске. Работал над программой “Марс”. Существовала такая великая программа, когда красный Советский Союз хотел присоединить к себе красную планету. Россия строила ракету “Энергия”, конструировала транспортный корабль “Буря”. А мы, на Украине, проектировали марсианский город. Марсианские квартиры со всеми удобствами. Марсианские сады с фонтанами и клумбами. Марсоходы, похожие на старинные кареты с атомными двигателями. Марсианские леса, в которых станут жить марсианские олени и гнездиться марсианские дрозды. Но главной нашей заботой был марсианский человек, который станет жить в марсианском городе, гулять в марсианских рощах, наблюдать в марсианские телескопы за галактиками. В нашу группу входили архитекторы, знатоки мировой архитектуры. Энергетики, создающие новые источники жизни. Садоводы, отбирившие семена для будущих

марсианских цветников. Там были психологи, антропологи, врачи. Возглавлял всё это направление могучий человек, который, будь он среди нас, получил бы позывной Великан. Он хотел, чтобы в марсианском городе сложилось людское братство, какого не было на Земле. Чтобы в этот город попадали люди *светлого образа*. Помимо ума, находчивости, деловитости, они были бы добры, бескорыстны. Исповедовали благоговение перед человеком, перед цветком, перед звездой, перед всем мирозданием. Он полагал, что на Марсе, в этом идеальном городе, в космическом монастыре может возникнуть общество, о котором мечтали лучшие философы и творцы Земли. На земле его не удалось построить — слишком много крови, насилия, несовершенства. Но удастся построить на Марсе, среди совершенных машин, которыми станут управлять совершенные люди. Он подбирал в марсианскую библиотеку лучшие книги мира, особенно те, в которых воспевался человеческий подвиг, человеческая мечта и любовь. Великан говорил о преобразении человека. Говорил, что в этом городе каждый станет творцом. Спектральный анализ показал, что в спектре Марса есть такие частоты, которые делают человека творцом. И там, на Марсе, возникнет новая музыка, новая поэзия, новая философия. Возникнет космическое сознание, которое откроет человеку глубинные тайны души и Космоса. Великан говорил о русском рае, о русской мечте, которая возносит человека к Богу и делает его бессмертным. В этом городе мы задумали храм, который хотели расписать образами рая, как его представляли художники и поэты всех времен и народов. Великан верил, что в этом храме марсианским людям явится Бог, который посетит их братство, посетит их космический монастырь. Вот такие мы были мечтатели, настоящие русские космисты. Мы создавали этот город на земных заводах, чтобы могучая “Энергия” перенесла его на Марс. Мы посещали школы, университеты, рабочие коллективы и военные гарнизоны, подбирая будущих марсианских поселенцев. В нашем космическом центре, среди фантастических конструкций марсианского города, мы проводили музыкальные фестивали, поэтические праздники, выставки живописи. Мы ждали момента, когда вся эта музыка, вся эта красота, весь порыв к созиданию и творчеству перенесётся на Марс. Когда десятки громадных ракет взмоют в Космос, и Советский Союз обретёт ещё одну, марсианскую республику. Но этого не случилось. Советский Союз был жестоко разрушен, быть может, для того, чтобы не осуществилась космическая мечта Великана. Ракету “Энергия” и эскадрилью “Буранов” разрубили на части, как и весь Советский Союз. Здесь, в новой Украине, наша программа погибла. Корпуса нашего центра купил олигарх и устроил в нём ночной клуб, дискотеку, сауны и гостиницу, где клиентам предлагали проститутку на любой вкус и выбор. Наши конструкции разломали и сдали в металлолом. Сотрудники, изнемогая от голода и безденежья, стали, кто “челноком”, кто спился, кто устроился в автосервис. А кто пошёл в рабы, в услужение к олигарху. Великан умер от горя. Его научные труды унёс с собой какой-то эзевский американский делец. А я стал проектировать коттеджи и виллы для богачей, стараясь тайно внести в них образ марсианского города. Когда случилось восстание на Донбассе, я пришёл в ополчение и создал батальон “Марс”. Теперь вы обитатели марсианского города. Живите по совести, любите друг друга, и вам, быть может, явится Бог. От нашей марсианской программы у меня осталась только эта коробочка, — Козерог оцупал жилет и извлёк из кармашка жестяную коробку с яркой красной наклейкой. — Здесь находятся семена цветов для марсианского сада. Когда-нибудь, после Победы, мы посадим на Марсе сады. И эти цветы расцветут на клумбах райского сада, — он бережно спрятал коробку в карман жилета, рядом с торчащим автоматным рожком. — Это теперь, в монашестве, я — Козерог, — усмехнулся он. — А в миру меня звали Денис Трофимович Сверчков.

Козерог поднялся, худой, с провалившимися щеками, в пиратской козынке. И пошёл в другой угол казармы, где ополченцы гремели трубами гранатомётов.

— Умрёшь в бою, и Аллах возьмёт тебя в рай, — произнёс чеченец Адам, глядя туда, где Козерог, окружённый ополченцами, что-то втолковывал им,

делаю вид, что прицеливается. — В раю такие цветы, каких нет на земле. В раю виноград слаще меда, а вино — как поцелуй девушки. Мне бы кровника одного застрелить, отомстить за брата, а потом можно и в рай.

— Мы теперь, как братья, — сказал калмыцкий казак Валерий. — Я жизнь свою положу за “друзи своя”. Если кого из вас ранят, берите кровь мою, сколько надо.

— Адам лепёшку нам отдал, разделил поровну, как братьям. Самая вкусная в моей жизни лепёшка была, — осетин Мераб положил руку на плечо Адама. — Когда будете все у меня во Владикавказе, угощу осетинскими пирогами. Один пирог — как солнце, другой — как небо, третий — как земля. У осетин пироги космические.

Каталонец Аурели вслушивался в разговор. Не понимая слов, он понимал их светящееся дружелюбие, возвышенное обожание. Заговорил быстро, страстно, указывая на каждого, как делают дети, играя в “считалки”.

Рябинин был поражён рассказом Козерога. Батальон “Марс”, куда привела его судьба, был космическим братством, которое совершало полёт в таинственное мироздание. Сквозь взрывы и смертельную боль оно летело к обетованной планете, где цветут дивные сады, сверкают божественные озера, живут бессмертные люди. Среди этих бессмертных он отыщет своих любимых поэтов, усопших предков. И ту чудесную игрушку — деревянного конька, которым играл в детстве и который куда-то бесследно пропал.

В казарме появился священник, тот, что днём выступал на площади. Чёрный подрясник. Военный картуз с торчащей косицей. Брезентовый жилет с множеством карманов, из которых виднелись автоматные магазины и гранаты. На груди — золочёный крест.

— Братие, приглашаю вас перед боем помолиться у иконы Пресвятой Богородицы, заступницы нашей, и приложиться к честному кресту, — гулко, командирским голосом, пророкотал священник, подходя к иконе. Все прекратили сборы, огложили автоматы и гранатомёты, потянулись к иконе.

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

— Аминь.

— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Священник приподнял на груди висящий крест. Ополченцы припадали к кресту. Рябинин смотрел на их немолодые, утомлённые, озарённые молитвой лица.

К кресту приложился и осетин Мераб. Его одутловатое, с синей щетиной лицо стало похоже на лицо младенца, что держала на руках Богородица. К кресту приложился Валерий. Его скуластое лицо стало вдруг беззащитным. Приложился Драгош, и губы его, когда он прикладывался к кресту, улыбались. Каталонец Аурели сначала поцеловал висящий у него на груди католический крест, а потом, вытянув губы, поцеловал золотое распятие, словно сделал глоток золотого света.

— Рябина, а можно мне? — чеченец Адам тихо спросил у Рябинина, кивая на крест. — Мне, мусульманину, можно?

— Конечно, — сказал Рябинин. Он видел, как Адам приблизил к кресту лицо с рыжеватой бородкой. Закрыв зелёные глаза, словно крест слепил его. И прижался к распятию. И Рябинин вспомнил, как Адам пустил его в свою молитву, и они вместе, обнявшись, уносились в лазурь. Теперь Рябинин пустил чеченца в свой молитвенный свет, и они неслись вместе в ту же лазурь.

Священник отдельно благословил Козерога, и они принялись о чём-то тихо беседовать.

Рябинин вдруг подумал о доме, об отце и матери, которые в этот час собрались в гостиной. Мама наливает отцу заварку из большого чайника с красными петухами. Отец рассеянно отпивает из фарфоровой кружки, не спуская глаз с телевизора. На экране — горящие дома Новороссии, подбитые танки, по улицам Донецка мчится “КамАЗ” с ополченцами, и в кузове вдруг мелькнуло лицо их сына.

Ему стало больно. Он был виноват перед ними. Уехал, не сказав, куда. И, быть может, сегодня его убьют, и они получат страшную весть, и посольный скажет, где они могут увидеть гроб с телом сына.

Рябинин достал телефон и позвонил домой. Подошла мать:

— Коля, что же ты не звонил? — принялась она его упрекать, — Мы с отцом волновались.

— Извини, мама. Такое море! Такие друзья! Здесь так замечательно!

— А у отца вчера давление подскочило. Насмотрелся по телевизору, как в Донбассе русских убивают. Когда возвращаешься?

— Не хочется уезжать. Здесь хорошо.

Мимо Рябинина проходили два ополченца, что-то сердито говорили друг другу. Один уронил гранатомёт, и тот со звоном упал на пол.

— Что там за шум? — спросила мать.

— Собираемся в холле, пойдём к морю.

Рябинин увидел, как Козерог, отойдя от священника, вышел на середину казармы. И прежде чем тот открыл рот, выдыхая команду, Рябинин успел произнести в телефон:

— Люблю тебя и папу! Очень люблю!

Выключил телефон, слыша, как зычно, растягивая гласные, комбат командовал:

— Батальон! Подъём! На выход, с оружием!

Кругом гремело. Топотали ботинки. Все устремились к выходу. Батальон “Марс” строился во дворе казармы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Они погрузились в машины. Десяток ополченцев уселись в автобус, за неся в него пулемёты. Этой группой руководил замкомбата с позывным “Федя Малой”, курносый крепыш с гранатомётом. За его спиной, словно заострённые солнечные лучи, торчали стрелы гранат. В маленький грузовичок поместился расчёт миномётчиков с трубой миномёта и завернутыми в тряпицы минами. Рябинин с товарищами забрался в кузов “Газели”, а Козерог занял место в кабине, и оттуда крикнул:

— За мной! Колонной! Дистанция десять метров!

Машины покатали в раскрытые ворота, мимо бетонной стены с надписью: “На Киев!” Рябинин, оглянувшись, увидел на ступенях казармы Матвеевну, которая горько махала им вслед.

Солнце садилось. Они выехали из города и катили по предместью, среди малоэтажной застройки. В домиках блестели стёкла. В садах краснели яблоки. Некоторые дома были разрушены, и в проломы крыши било низкое солнце. На асфальте виднелись выбоины, оставленные снарядами, и машины их огибали.

Проехали блокпост. Козерог из кабины небрежно махнул рукой. Ополченцы, дежурившие на посту, отвечали ему такими же небрежными взмахами.

Потянулись пустыри, миновали разбитую бензоколонку, поваленную высоковольтную вышку. Сквозь чахлые лесопосадки виднелись поля. За ними что-то бесформенное, дымное, в железном тумане дышало, вздрагивало, издавало глухое уханье.

— Аэропорт! — высунулся из кабины Козерог. — Батальон “Восток” опять атакует. Но нам туда не надо. Наша пушечка в стороне. Мы её прихватим малой силой.

Ещё один блокпост преградил дорогу. В бетонных капонирах стояли пулемёты. Траншеи пересекали обочины. Над мешками с песком трепетал флаг Донецкой республики: алое поле с синим Андреевским крестом. В кювете лежал на боку обгорелый автобус. Козерог и Федя Малой вышли из машин, достали карту, и ополченец в бронежилете что-то им объяснял. Тыкал в карту, показывая на далёкие посадки. Было видно, как у него пот течёт из-под каски.

Подошёл ополченец, горбоносый, в бандане, с чернявой цыганской бородой и серебряным кольцом в ухе.

— Вроде подбитый? — Рябинин кивнул на сгоревший автобус.

— Да укры заблудились. Сдуру или по пьянке выскочили на блокпост. Из окна своим флагом машут. Увидели наш флаг, и хлобысть из автомата. А Егорыч их гранатомётom достал. Все шесть укропов “двухсотые”, жмури-ки. Мы их вон там закопали.

Цыган с серьгой кивнул на близкую пустошь, где бугрился пепельный бугор. Рябинин видел, как над могилой стеклянno струится воздух.

Подошли Козерог и Федя Малой. Ополченец в каске их наставлял:

— Вы идите посадочками. На открытое не суйтесь. У них пушка закопана вон за тем леском. Вчера стреляла, а сегодня молчит. Видать, снаряды кончились. Охранение так себе. Если скрыто подойдёте, может, у вас и получится.

Оставили машины на блокпосту. Федя Малой с заострёнными лучами гранат за спиной повёл группу в обход открытой пустоши, туда, где тянулась лесополоса, пересекая обширное поле. За ними поспедали миномётчики, неся на плечах трубу и подпятник. Козерог с новобранцами двинулся краем поля, хоронясь среди пирамидальных тополей, вялых акаций, шурша колочими травами.

— Продвигаемся перекатом. Одни прикрывают других. Ты, Сеньор, ты, Серб, ты, Адам, идёте вперёд, вон до тех кустиков. Там залегаете. Ты, Рябина, ты, Калмык, ты, Бритый, остаётесь со мной. Если начнут стрелять, бейте на выстрелы из всех стволов, прикрывайте товарищей. Первая группа, вперёд!

В одной руке — автомат, в другой — рация с усиком антенны... Козерог натаскивал их, как натаскивают неопытных гончих, указывая заячий след.

Первые трое, пригибаясь, держа на весу автоматы, метнулись вперёд, неся с собой длинные тени.

Рябинин лежал в траве, целясь в далёкие заросли. Оттуда вот-вот застучат долбящие трассы, срезая бегущих товарищей. И тогда наугад, с непрерывным грохотом, в пыльные кусты, в мерцающие бледные вспышки он вонзит свои пули, спасая товарищей.

Он видел, как те подбежали к кустам, упали, почти скрылись в траве. Серб приподнялся и махнул рукой.

— Вперёд! До тех бугорков! — скомандовал Козерог.

Вторая группа вскочила и помчалась, разрывая колочие стебли. Рябинин нёсся, видя рядом бегущего Калмыка, который вилял и подпрыгивал, словно уклонялся от пуль. Две их тени бежали наперегонки. Рябинин ждал, что из вялых посадок хлестнёт смертельная очередь, и он, срезанный, упадёт в перепутанную траву. Ему было страшно и весело. Ему казалось, он с кем-то состязается и опасно играет. С тем невидимым, кто притаился в посадках и молча наблюдает за его бегом, за его испугом, его за весёлой лихо-стью, выжидающая секунду для выстрела.

Мелькнула в траве старая автомобильная крышка, раздавленная пивная банка, ворох истлевшей ветоши. Они достигли места, где лежала первая группа, выставив тусклые стволы. Пробежали дальше, до пыльных бугорков и рухнули, разведя веером автоматы. Рябинин слышал своё частое дыхание, стук сердца. Видел у самых глаз резной лист полыни. Он обыграл невидимого соперника, не успевшего послать в него пулю.

Козерог приподнялся из травы, махнул рукой первой группе, и та вскочила. Неслись, пятнистые, стремительные, качая автоматами. Рябинин видел, как упруго, по-звериному оскалив зубы, промчался мимо чеченец, оставляя запах растревоженной полыни.

— Хорошо! Теперь наш черёд! Вперёд! — Козерог вскочил, увлекая за собой остальных.

Они совершили несколько перебежек и залегли у бугра, где кончалась лесополоса, переходя в мелкие заросли. Красное солнце почти касалось холмов, и лица, обращённые к солнцу, казались красными.

— Федя Малой, я — Козерог! Доложи обстановку! — комбат прижимал к губам шелестящую рацию. — Так, так, понял тебя. Без разведки не суйся. Береги людей.

Рябинин смотрел на товарищей, чьи красные лица заворожённо обратились к солнцу, словно оно, уходя, увлекало их за собой.

Солнце село, оставив воспоминанием по себе воспалённую зарю. Воздух стал синим, густым, и лица теперь казались отлитыми из металла.

Они слышали высокий звенящий звук, словно вели смычком по стальной струне. Крохотная сверкающая точка мчалась в небе, озарённая невидимым уже солнцем. Вот она пошла на снижение в сторону города, выпустила чёрные заострённые когти, которые проскребали небо, и там, где в тумане шевелился город, дважды глухо ахнуло, будто на звук накинута ватное одеяло.

— Опять укропы направили на Донецк самолёты. — Козерог искал в небе исчезнувший самолёт. — Значит, не все ещё пошибали. Ничего, батальон “Марс” разживётся зенитками, разживётся переносными зенитно-ракетными комплексами. Будем их щёлкать в небе!

Они двинулись цепочкой по серой тропе, виляющей в зарослях. Рябинин, глядя, как переступают впереди тяжёлые ботсы Калмыка, подумал, что все они — экипаж марсианского корабля, проходящий предполётную тренировку в земных условиях.

Тропка, покурлесив в кустах, привела их к родничку. Вода выбивалась из земляной лунки, вздымала дрожащий бурунчик и утекала ручейком в траву, которая сочно темнела вдоль русла. Над родничком на столбиках возвышалась кровля, увенчанная луковицей с крестом. Эта надкладезная часовня, возведённая чьей-то заботливой рукой, была укоришной разрушительным страстям, что вели по тропе их вооружённый отряд.

Остановились и по очереди стали пить. Рябинин подумал, что земля, изуродованная взрывами, засеянная сталью, изрытая траншеями и могилами, продолжала кротко поить людей, словно желая остудить их непримиримую ярость.

Чеченец пил лежа, припадая губами к ключу, жадно всасывал воду. Калмык перекрестился, черпнул горстью и бережно пил с ладони, роняя капли. Осетин омыл воспалённое лицо, плеснул на голову и только после этого долго, беззвучно ловил губами танцующий в лунке фонтанчик. Серб двумя горстями бросал себе в лицо воду, хватал её быстрыми губами, словно целовал. Каталонец опустил на колени, как на молитве, погрузил лицо в воду, и было видно, как с каждым глотком вздрагивают его плечи. Козерог чуть пригубил воду, ополоснул шею и грудь.

В стороне, за путаницей кустов раздались два взрыва. Загрохотал пулемёт. Прогремел ещё один взрыв. Мелко и часто затрещали автоматы. Снова ухнуло. Рябинину показалось, что острое лезвие посекло вершины кустов, и ветки посыпались на тропу. И вдруг всё стихло.

— Федя Малой, я — Козерог! Как обстановка? — комбат дышал в радио. — Так! Так! Хорошо! Потери? Молодец! Укропы? Отлично! Займи оборону! Иду к тебе!

Они пробрались сквозь заросли, вышли на грунтовку и в ложбине увидели сизый дым и тлеющий красный огонь. Ополченцы занимали оборону на обочинах дороги, все возбуждённые, шумные, приветствовали командира. Федя Малой, маленький, круглый, уже без заострённых лучей, словно сбросил со спины оперение, докладывал Козерогу:

— Мы, значит, с двух сторон. Я, значит, из РПГ засадил, а Шатун — из пулемёта. Укры не успели ответить, разбежались, то ли спяну, то ли со страху. У нас ни “двухсотых”, ни “трёхсотых”. Бандерлоги ушли без потерь, может, только в штаны наложили!

Его курносое, немолодое лицо победоносно светилось. Он затоптал ботинком тлеющий клочок травы.

Осматривали место боя. В небрежно отрытом капонире стояла самоходная гаубица, грязно-зелёная, на провисших гусеницах, с толстым хоботом ствола. Рядом высилась гора стреляных гильз, валялись железные бочки. Ополченцы облепили орудие, заглядывали в люк, садились верхом на ствол. Они были похожи на муравьёв, поймавших большую зелёную личинку, и приноравливались тащить её в свой муравейник.

Из люка показался ополченец Шатун. У него на лбу были большие мотоциклетные очки, из-под которых торчал перепачканный копотью нос, а под носом топорщились закрученные усы.

— Козерог, горячего ноль. Снарядов ноль. Завести не могу. Надо нашим передать на блокпост, пусть бочку с горючкой подбросят. Надо её отсюда угнать, пока укры не очухались.

— Шатун, ты теперь начальник артиллерии. Давай, собирай батарею. А эту пригонишь на базу, — Козерог ласково похлопал гаубицу по замасленному железу, как похлопывают по крупу домашнего жеребца.

Рябинин чувствовал весёлое возбуждение. Его первый бой завершился. Во время этого боя он испытал страх, азарт, оторопь, тревожное ожидание, которые теперь сменились лёгкостью и чувством победы.

Этот бой соединил его со всем воюющим ополчением, занимающим оборону от Луганска до Донецка. С теми, кто дежурит на блокпостах, отбивает танковые атаки, выдерживает артобстрелы. Этот бой соединил его с войной, поместил в войну. И теперь он полноправный участник этого грозного, смертельно опасного действия.

Рядом с гаубицей была отрыта траншея, валялись доски, тряпье, пустые зарядные ящики. Стояла палатка с приподнятыми боковинами. Над ней развевался украинский жёлто-синий флаг. Его пытался сбить ополченец в каске. В сумерках палатки топтались ополченцы. В палатке стоял стол, железные стулья. Стол был накрыт: банки с тушёнкой, нарезанный хлеб, перья зелёного лука. Стояла большая бутылка с надписью “Спирт”. Блестели стаканы.

— Козерог, да они нас ждали! — Федя Малой открыл бутылку и нюхал спирт. — У них ресторан настоящий!

— А что, гвардейцы, может, отметим победу? Боевое крещение батальона “Марс”? — Козерог, ликуя, оглядел ополченцев, близкую гаубицу, глеющую траву. — По глоточку, по капельке, из трофейных стаканов?

— Водички бы, спирт разбавить. А то сгорим, — сказал Шатун, в своих мотоциклетных очках похожий на аквалангиста. — Где водички достать? — он тряхнул пустой пластмассовой канистрой.

Козерог бегающими глазами осмотрел ополченцев.

— Ты, Калмык, бегом к источнику! Нога здесь, нога там!

Калмык схватил канистру и кинулся исполнять приказание.

— Отставать! — остановил его Козерог. — Рябина, ты пойдёшь!

Не понимая, почему Козерог оставил Калмыка в палатке, а его послал за водой, Рябинин схватил канистру. Побежал по тропке сквозь заросли туда, где стояла часовенка и бил ключ.

Стояли светлые сумерки. Сквозь ветви светилась угасающая заря. Воздух был густой и синий. Земля, остывая, источала душистое, с полынными запахами, тепло. Он пробежал по тропинке, вышел на поляну. Поставил на землю канистру, чтобы поправить съехавший автомат. И увидел солдата.

Солдат был без шапки, с короткими светлыми волосами, загорелый. Его солдатская рубашка была серо-зелёного цвета, на рукаве виднелась жовто-блакитная нашивка, какие носят украинские военные. Он держал наперевес автомат и медленно переступал, высоко поднимая ноги, словно охотник, скрадывающий дичь. Чутко прислушивался к неясному шуму, который доносился сквозь заросли с позиции недавно захваченной гаубицы.

Рябинин замер, присел, желая укрыться, остаться незамеченным. Чтобы этот солдат, уцелевший во время атаки, прокрался мимо и ушёл восвояси, со своим испуганным лицом и желто-синим шевроном на мятой одежде. Рябинин начал приседать, издавая чуть слышный шорох. Солдат, тревожно вращая глазами, стал искать источник шороха, поднимая ствол автомата. Ещё не видя Рябинина, он искал цель. Их глаза встретились и ужаснулись друг другу. Рябинин видел, как ствол автомата движется по дуге, нащупывая его грудь. Останавливая это движение, не давая дуге завершиться, почти не целясь, он ударил из своего автомата. Увидел рыжее пламя, услышал сквозь грохот чмокающий звук пули, входящих в близкое тело. Солдат отшатнулся. Изумлённо раскрыл рот, выпустил автомат и рухнул навзничь, дрожа ногами.

Рябинин не понимал ещё, что случилось. Он порывался бежать. Видел, как бьётся в траве подстреленный им солдат. Побуждаемый страхом, тоской, ужасом своего слепого выстрела, он кинулся к солдату.

Тот бился об землю ногами, худыми плечами, затылком. В горле у него булькало, клекотало, рубаха на груди набухла кровью. Кровь двумя струйками текла изо рта. Глаза, серо-голубые, с большими белками, блуждали по небу.

Рябинин подхватил рукой его тёплый затылок, оторвал от земли:

— Сейчас, подожди! Перевяжу! — стал расстёгивать солдату рубаху, обнажая грудь, пачкаясь кровью. Увидел нательный крест, такой же, какой носил сам. В тоске, в непонимании, глядя на чёрную скважину, из которой бил кровавой фонтанчик, бессвязно бормотал:

— Перевяжу, потерпи! Здесь рядом машины!

Солдат остановил на нём выпуклые, полные слёз глаза. Втянул воздух и сильно, с хрипом, выдохнул, посылая в лицо Рябину шматок крови. Словно харкнул в него. Голова его отяжелела, соскользнула с ладони Рябинина, упала в траву и повернулась на бок.

Рябинин встал, отирая с лица кровь. Он стоял над убитым солдатом, который стал длиннее, утих и не дёргался больше в тёмных травах. Синяя заря сквозя ветви смотрела на них обоих: на убитого солдата и на Рябинина.

Он вдруг испытал смертельную панику. Не понимал, кем был теперь он, Рябинин. Кем был лежащий в траве солдат. Кем были его отец и мать, сидящие в уютной московской гостиной. Кем была его подруга, у которой на ладони он целовал “линию жизни”. Кем был его любимый школьный учитель, преподававший литературу. Он не понимал мира, в котором теперь оказался, стоя на тёмной траве перед убитым солдатом, который перед смертью плонул в него своей кровью.

Помрачение и ужас были столь сильны, что он побежал. Наугад, сквозь кусты, хрустя ветками и цепляясь... Бежал подальше от поляны, на которой лежал солдат, от его жёлто-голубой нашивки и нательного креста. Не знал, куда бежит. Только бы прочь от поляны, прочь от гаубицы, прочь от этой войны. Куда-нибудь через пустоши и лесопосадки, к какой-нибудь дороге, до какой-нибудь попутной машины. До границы, до Ростова, до самолёта. Чтобы вернуться в Москву, в милый любимый дом, к любимым родителям, к друзьям в литературном кафе.

Он бежал вслепую, понимая, что прежняя жизнь не примет его. Мама, если станет его обнимать, обнимет убийцу. Подруга, целуя его тёплыми мягкими губами, будет целовать убийцу. Приятели, подтрунивающие над его литературными суждениями, станут трунить над убийцей.

Он вдруг спохватился, что забыл автомат. Оружие, из которого он убил человека, — стёртое железо, лысый приклад, — и это оружие остановило его панический бег, позвало обратно. Оружие, которое он получил из рук командира на площади, связывало его с оставленными товарищами. Связывало с войной. На поляне лежал убитый им солдат, обративший его в бегство. И там же лежал автомат, который позвал его обратно.

В сумерках, испытывая муку и страх, он вернулся на поляну. Тёмный, с мутным лицом, вытянулся на земле убитый солдат. И рядом с ним — автомат, из которого он не успел выстрелить. На тропе тускло отвечивал автомат Рябинина. Рябинин повесил его на плечо, подобрал канистру и направился к источнику — исполнять приказ Козерога.

Омыл лицо, постирал рубаху. Пил студёную воду, которая истекала из таинственных земных глубин и несла с собой целящую силу, кроткое утешение, умаление страданий. Набрал в канистру воды. Надел мокрую рубаху и пошёл, далеко обходя поляну. Старался не думать об убитом солдате. Не пускал в свой рассудок разрушительный взрыв.

Он услышал летящий по небу звук, звенящий, ноющий, словно водили смычком по железной струне. Раздался короткий свист, за бугром с кустами страшно ахнуло, раз, другой. Полыхнул рыжий свет, тряхнуло, и жаркий воздух, продрав кусты, пошатнул Рябинина.

Он стоял, глядя, как близко, за кустами, танцует жёлтый огонь, и что-то трещит там, осыпается. Медлил, не зная куда бежать и как спастись. Бросил канистру, кинулся сквозь кусты на рыжий огонь.

Он увидел душную рытвину с вонючими перебегающими язычками. Перевернутую гаубицу с вывернутым стволом. Растерзанную палатку с горящим брезентом. И разбросанные по земле в нелепых позах, как бесхребетные тряпичные куклы, тела убитых.

Шатун в своих дурацких очках и Федя Малой, светя фонарём, бродили вокруг.

— Двумя ракетами! Фарш!

Рябинин в отвсетах зловонного пламени увидел голову чеченца Адама, с бородкой, с обрубком шеи, с оскаленными зубами. Лицом в землю, заломив назад руки, словно они были связаны, лежал калмык Валерий. Осетин Мераб схватил омертвевшими руками живот, из которого вываливалось синее-розовое месиво. Серб Драгош улыбался, но его шея была вытянута, как длинный чулок, а ноги были завязаны в узел. Рябинин увидел Козерога. Тот лежал в тлеющей одежде, его разгрузочный жилет был разорван, из карманов вывалились рожки, гранаты, и лежала металлическая коробка с красной наклейкой, где хранились семена марсианских цветов. Рябинин среди рыхлой земли, щепок, обрывков брезента искал каталонца Аурели. Нашёл. Тот недвижно сидел, прижавшись спиной к откосу воронки. У него не было ног, торчали кости, и вытекала кровь. Рябинин наклонился к нему. Батальон “Марс” был уничтожен прямым попаданием авиационных ракет. Экипаж космического корабля пал жертвой страшной аварии.

Рябинин пошёл прочь. Проходя мимо Козерога, поднял железную коробку с семенами цветов и сунул в карман. В его голове ревели, мысли сворачивались в большие жгуты. И среди этих жгутов тонко и сверкающе билась мысль. Почему Козерог не пустил за водой Калмыка, а отправил его, Рябинина?

Он ушёл в сторону от перевернутой гаубицы, от стога раненых, от окриков уцелевших ополченцев. Стояла ночь. Из-за горизонта летели ввысь ртутные шары, оставляя гаснущий след. Это “Грады” били по Донецку, выгрызая его дома и кварталы.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Рябинин проснулся от того, что автомат соскользнул с колен. Они остановились у высокой одинокой горы, по которой уступами поднималась лестница. По её сторонам на склонах, похожие на утёсы, были воздвигнуты монументы. Вся гора напоминала огромный памятник, уставленный изваяниями.

— Саур-Могила, — комбат Курок заглянул в автобус. — Здесь в сорок третьем шли страшные бои за Донбасс. И теперь, как тогда, Саур-Могила переходила из рук в руки. На вершине шли рукопашные. Уцелевшие ополченцы вызывали огонь на себя. Там похоронены герои. Там же мы похороним наших павших товарищей. Машины поднимутся на вершину по серпантину. Кто хочет, может подняться пешком.

Рябинин, набросив на плечо автомат, стал подниматься от подножья к вершине. Когда-то здесь двигались торжественные толпы, гремела музыка, пестрели букеты цветов. Теперь он один совершал восхождение. Далёкая вершина манила его, словно кто-то ждал его на горе.

На склоне валялись перевернутые ржавые танки, сожжённые БТРы, подбитые боевые машины пехоты. Их опалил адский огонь, превратил людскую плоть в пепел, а металл покрыл ядовитой окалиной. Каждую машину с растерзанными гусеницами, оторванной башней, лопнувшим корпусом настиг удар ненависти, и эта ненависть висела в воздухе, дула из пробоев, жгла горло.

Огромный барельеф надвигался. Выкрашенный алюминиевой краской, он был посвящён подвигу пехотинцев, отбивавших у фашистов Донбасс. Из бетонной стены выступали лица, вставали в атаку бойцы, развевались

плащ-палатки. Мощные скулы, сжатые брови, расширенные, глядящие из бетона глаза. По этим лицам, по атакующим пехотинцам, по их штывкам, автоматам, знаменам гвоздила украинская артиллерия, стреляла танки, били “Грады”, вырывая глаза, отсекая губы, пробивая дыры в груди.

Под ногами Рябинина валялись оторванные носы, срезанные кисти рук, отломанные надбровные дуги. Он обходил их, боясь наступить. Всё было усыпано осколками, металлической крошкой. Монумент был в метинах от бесчисленных пуль.

Ярость, с какой уничтожался монумент, была безумным порывом. Этот порыв опрокидывал не монумент, а событие, которому тот был посвящён. Опрокидывал память о победителях. Обращал вспять время, в котором страшными трудами и тратами добывалась Победа. Выкалывал из времени эту Победу. Снаряды и пули уничтожали не памятник, не металлические изваяния, а тех, кто прошёл по Донбассу, сметая захватчиков. Павших героев убивали вторично.

Рябинина ошеломила эта ярость и ненависть.

Он поднимался всё выше, туда, где тусклым алюминием сиял второй монумент. Он был посвящён подвигам советских танкистов. Из стены выступали танковые корпуса и башни, круглились пушки. Танкисты в шлемах выглядывали из люков, вели свои стремительные машины среди горящих городов. И по ним гвоздила украинская артиллерия, жгла “тэтридцатьчвёрки”, косила танкистов, останавливала вал победителей.

Рябинин смотрел на выбоину в танковой башне, на упавшую под ноги голову танкиста, на застрявший в бетоне хвостовик мины. И здесь была та же ярость, та же ненавидящая страсть. Желание вонзиться вглубь истории и оттуда, изнутри изменить её ход. История, окаменевшая в монументе, уловленная в недвижные скульптуры, ожила. Она вырывалась из бетона и превращалась в чудовищный вихрь.

Рябинин чувствовал себя вовлечённым в этот вихрь. Он оказался на войне, которая не закончилась семьдесят лет назад, а продолжалась поныне. Смысл этой войны открылся ему здесь, на вещи горе, и заключался он в том, чтобы не отдать Победу, добытую Родиной в смертельной схватке, не проиграть её теперь. Эти абстрактные, не трогавшие душу суждения, которые казались напыщенными, приторными, лишёнными достоверности, вдруг грозно и ослепительно открылись на Саур-Могиле. Обнаружили себя оборельными самоходками, расстрелянными монументами, кудрявой сталью минных осколков.

Вершина звала его, и он восходил по ступеням, слыша трубный глас: “Иди ко мне”!

Третий монумент, как огромный, разрезавший гору волнорез, был посвящён лётчикам, воевавшим в небе Донбасса. Моторы, пропеллеры, крылья со звёздами, лётчики, ведущие машины в лобовые атаки, пикирующие на колонны вражеских танков. И все они были подвержены ударам ненависти. Украинские зенитки сбивали советские самолёты. Украинские пулемёты расстреливали в воздухе парашютистов. Украинские “Грады” сжигали на крыльях самолётов звёзды.

Рябинина сотрясали удары, будто в него вонзались снаряды, буравили пули, обжигали взрывы. Он чувствовал страшное напряжение схватки, которая проходила не только здесь, на земле, но и в запредельных высях. Там сталкивались непомерные силы, сражались космические вихри. И эта поднебесная схватка отзывалась на земле искорёженной бронетехникой, изуродованным бетоном, запахом сгоревшего металла.

Он достиг вершины. Ещё недавно здесь высилась огромная стела — подобие штывка, воздетого в небо. Теперь эта стела, срезанная залпами “Градов”, лежала на земле, придавив металлического солдата. Рябинин тронул ладонью железный висок, ощутив глубинное биение.

На вершине ревел ветер. Здесь было семь свежих могил. На крестах висели венки. Трепетали флаги Донецкой республики, стяги батальона “Восток”. В могилах покоились те, кто оборонял гору и вызвал огонь на себя.

На вершине ревел ураган, словно дула труба. Хлопали над могилами флаги. Свистела арматура взорванной стелы.

Рядом с могилами были выкопаны свежие ямы. В них опускали гробы с бойцами батальона “Марс”. Рябинин кидал землю в яму, прощаясь с усопшими. Вместе со всеми пускал из автомата прощальные очереди.

Выпили из пластмассовых стаканчиков поминальные сто грамм. С вершины горы открывались синие дали, чувствовалась кривизна Земли, словно над ней летел космический корабль.

Ополченцы возвращались к автобусу. Колун садился в свой выдавший виды “КамАЗ”.

Рябинин отстал от остальных. Извлёк из кармана жестяную коробку с красной наклейкой. Открыл и посыпал могилы семенами марсианских цветов. Пройдут дожди, могилы превратятся в цветочные клумбы, и над ними расцветут волшебные радуги.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Батальон “Аврора”, в котором отныне воевал Рябинин, занимал оборону у села Петровка, вдоль шоссе, соединявшего Луганск и Донецк. Шоссе проходило в тылу батальона, позволяя двум городам обмениваться отрядами ополченцев, боеприпасами, продовольствием. Украинская армия стремилась сбить батальон с позиций, выйти к шоссе, отсечь друг от друга два города. Укры долбили артиллерией, наносили авиаудары, атаковали танками и пехотой. Батальон держался, зарывшись в землю. Зацепился за угловое селение, где большинство домов было разбито, жители разбежались. А те, что остались, ютились в погребках, опасливо скользили вдоль заборов до колодца и обратно. Ненадолго показывались из своих подземелий, когда приезжал фургоныч с хлебом.

Над штабом батальона, на крыше облупленной хаты, развевался красный флаг с серпом и молотом, ибо комбат Курок был приверженцем Советского Союза. Через огороды и проулки тянулася траншея, куда укрывались ополченцы при артналётах. В понурых, иссечённых осколками садах прятались две колесные гаубицы. Пулемёты ополченцев смотрели в белесое поле с погубленными посевами пшеницы. За полем возоблались холмы и курились слабые дымки. Там находились украинские фашисты. Оттуда начинались атаки, летели снаряды, двигались танки. С того же направления прилетали штурмовики, кидая бомбы на сады и хаты.

Рябинин выходил на боевое дежурство, присаживаясь на зарядный ящик вблизи от траншеи, готовый прыгнуть в её сырую чёрную глубину. В минуты тишины траншея пустовала, на бруствере лежали гранатомёты, ручные пулемёты, а их хозяева покуривали, исподволь поглядывая на пшеничное поле. Пшеница была изрезана множеством дорог, проделанных танками.

Ночевал Рябинин в пустующей хате вместе с другими ополченцами. В хате стояла белёная печь, расписанная цветами, висело зеркало, красовались на тумбочках и на испорченном телевизоре рукодельные салфетки с изображением кота и надписью “Кіт обідає”, что означало “Кот обедает”. Гречневая каша и тушёнка были основной едой. Порой появлялись сочные початки кукурузы и молодая картошка. И конечно, яблоки, устилавшие землю в садах.

Иногда Рябинин совершал прогулки по селу. Разбитый снарядами магазин рассыпал вокруг блестящие осколки витрин. В почтовом ящике на столбе зияла дыра. Перебегали дорогу хромые собаки, получившие ранения при бомбежках. Робкие дети на хрупких ножках появлялись из развалин и тут же скрывались, как испуганные зверьки. Лишь один дом, с каменной башенкой и затейливыми колонками, стоял уцелевший среди разрушенных хат. Рябинин видел, как из дома вышла печальная статная женщина с тугой косой вокруг головы, отрешённо постояла на крыльце и снова скрылась.

С утра над пшеничным полем мимо села пролетел самолёт и сбросил бомбы туда, где соседний отряд ополченцев защищал отрезок шоссе у села

Устиновка. Самолёт просверкал на солнце, и гром разрывов медленно пока- тился над полем.

Рябинин начинал тоскливо закрывать глаза, когда раздавался звенящий и ноющий звук смычка, теребящего небесную струну. В закрытых глазах возникала воронка, окружённая горячей травой, и голова серба Драгоша, висящая на длинной, как чулок, шее.

Рябинин сидел на зарядном ящике, слушая разговор двух ополченцев. Они положили у ног автоматы, чтобы можно было их мгновенно схватить и соскользнуть в траншею. Ополченец Жила вполне оправдывал свой по- зывной. Жилистый, в мускулистых узлах, с тяжёлыми надбровными дуга- ми, под которыми зло и весело блестели глаза, Жила в недавнем прошлом был эком. Ускользнул с зоны, когда началась война и среди барakov стали рваться снаряды, а охрана разбежалась. Жила пустился в бега, примкнул к ополченцам. Дрался храбро и яростно, мстительно стреляя в украинских силовиков, которых называл “мусорами”. На нём была пятнистая безрукав- ка с карманами. Плечи и бицепсы покрывала синяя татуировка с изображе- нием женщин, цветов и драконов. Голову защищала каска с туманным пят- ном солнца.

Второй ополченец, Ромашка, имел крупное лицо, золотистую щетину, тёмно-синие глаза и большие осторожные руки, в которых он держал коло- сок пшеницы, аккуратно извлекая из него спелые зерна. Он слыл целителем. В хате, которую он занимал, висели пучки трав, стояли склянки с отвара- ми. Отдежурив на передовой, он уходил за село, где оставалась неспахан- ная степь. Одинок бродил, нагибаясь, срывая головки цветов, выкапывая корешки, не обращая внимания на пролетавшие над полем штурмовики.

— Ну, ты, цветик божий, скажи, за что люди воюют? — Жила насме- шливо смотрел, как из колоска на тёмную ладонь Ромашки выпадают пше- ничные зерна. — Одни воюют за Сталина, другие — за Гитлера, третьи — за Христа. Тот — за еврейского бога, а этот — за мусульманского. А все за войну воюют. Вот и выходит, что у всех человеков бог — это война.

Ромашка собрал на ладонь белые зёрна. Выбросил пустой колосок. Ки- нул зёрна в большой тёмный рот и стал их медленно жевать.

— Войну чёрт придумал, — произнёс он, проглотив зёрна. — Бог ми- рит, а чёрт ссорит. Только люди опомнятся, начнут обниматься, а чёрт им в душу плонет, и они опять воевать. Всем нам в душу чёрт плонул.

— Я войну люблю. Война меня из тюрьмы увела. Меня хохлы на зоне заставляли мочу пить. Посеут на землю, мордой ткнут: “Ешь!” Теперь я им в рот сесть буду.

— Ты, Жила, больной. Тебе чёрт в душу плонул. Приходи ко мне в ха- ту — я тебя лечить буду, травы заварю. Ко мне старушки приходят, кото- рые без лекарств остались, детишки приходят, которые заикаться стали. Я их лечу.

— Мне баба нужна. Здесь одна баба ходит — с косой. Её в постель по- ложить бы да и лечиться ею.

— Сейчас не до баб. Горе кругом. И люди, и звери, и птицы, и травы — все страдают. Надо обождать, когда война кончится.

— Дураки вроде тебя терпят и ждут. А умные и на войне своё не про- пустят. Ты погляди на шоссе: углевозки одна за другой идут. Уголёк ворован- ный везут в Россию, а может, и украм толкают. Миллионы в карман кладут.

— Ничего про это не знаю.

— Наш-то, Курок, Ленина любит. Идеальный. Ему бы пару шахт взять под личный контроль. Он бы после войны горя не знал. И нам обломи- лось бы.

— Курок в Бога не верит, а Бог в нём есть. Потому и не вор.

— Надо мне от вас, идейных, к казачкам податься. А то как пришёл к вам без штанов, так и хожу.

— Чёрт в тебя плонул, Жила. Приходи, дам тебе траву чертогон.

Над полем кружил ворон. Его редкое карканье трескуче разносилось в знойном воздухе. Ворон приблизился к селу и сел на одинокий столб с об- рывками проводов. Было видно, как переливается на солнце его чёрно-синее

оперение. Жила осторожно подтянул к себе автомат. Прицелился в ворона и выстрелил. Одиночный выстрел чмокнул в тугое птичье оперение, и ворон, разорванный в клочья, упал. Дёрнулся пару раз и замер чёрно-красным недвижимым ворохом.

— Ты что сделал, гад? За что убил птицу? — ахнул Ромашка.

— А я думал, это беспилотник, — захохотал Жила и, сплонув, подхватил автомат и пошёл вдоль траншеи.

Рябинин смотрел на красно-чёрный ворох перьев. В небе зазвенело. Над полем просверкал штурмовик, и вдали дважды ахнуло. Звуки тяжёлыми шарами покатались по полю.

Ополченцы привезли на передний край противотанковые ежи, сваренные из обрезков рельсов. Сбросили их с грузовика.

— Мужики, говорите, где ёжики ставить. Откуда на вас танки попрут?

Рябинин отправился в штаб батальона, чтобы получить указания у начальника штаба.

В штабе, в горнице с раскрытыми окнами, у стола с бумагами, картами, рациями, под висящим на гвозде автоматом сидел комбат Курок. За его спиной у стены стояло полковое знамя времён Отечественной войны: бархатное полотнище с вышитым профилем Ленина и надписью: “За нашу советскую Родину”! Курок был в тельняшке, череп его был лыс. В рыжей косой бороде скрывался шрам, шевелились губы, с трудом проталкивающие слова. Он говорил по мобильному телефону. Была включена “громкая связь”. Он сделал знак Рябинину, чтобы тот не мешал, и Рябинин от порога слушал разговор комбата.

— Вот не думал, Слава, что встретимся. Я тебя после училища потерял из вида, всё думал, где это мой друг Владислав Курков потерялся? Слышал от кого-то, что в Чечне воевал, был ранен. Как теперь-то? Жив-здоров? — “громкая связь” сквозь шелесты и потрескивания доносила чей-то дружелюбный голос.

— Да всё нормально, жив-здоров. А как ты, Миша, мой телефон раздобыл?

— Да пленный из твоего батальона. Кажется, позывной “Малюта”. Мы его немного прижали, и он мне твой телефон дал. Сказал, что “Курок” — это Курков Владислав Александрович. “Ба, думаю, так ведь это друг мой Слава. Дай позвоню”!

— Ну, рад тебе, Миша. Здорово! Как ты? Есть семья, дети?

— Семейный. Старшая дочь, младший сын. Да ты помнишь Варю мою. На выпускном мы с ней танцевали. Ты ещё сказал: “Не раздумывай, женись слёту”. Так что ты нас, вроде, и сосватал. А ты-то как?

— Развёлся. Сын растёт в стороне.

— А помнишь, тактику нам читал полковник Кавун? “Товарищи курсанты, ваша дурь — мои нервы”! Недавно встретил его на Крещатике. Такой же толстый, и усами дома задевает.

— Помню Кавуна. Мы тактику изучали на примерах Великой Отечественной. А надо было на примерах гражданской. Теперь бы нам пригодилось.

— Слушай, Слава, а ведь за мной долг остался. Ты тогда выручил меня, дал денег. Я все мучился, как отдать. Может, теперь отдам? Только гривнами, рублей нема.

— Да ты отдаёшь каждый день. То гаубичными, осколочными. То танковыми, фугасными. Отдаёшь с процентами.

— А что остаётся, Слава? Куда вы, москали, лезете? Где вы, там кровь, разорение. Мало тебе было Чечни? Весь Кавказ перетряхнули, кровью залили. Теперь на Донбассе пришли. В вас, москалях, имперский бес сидит. Как его укротить? Только фугасными и осколочными. Другого языка не поймёте. Ни русского, ни украинского — только язык артиллерии.

— Какое было государство, какая страна Советский Союз! Все жили дружно, как братья. Какая мощь, какое богатство. Надо было разрушить, разломать, всех перессорить. Что ж, теперь придётся заново страну собирать. Крым подобрали, подберём и Донбасс.

— Не дадим, Слава! Голодомора не будет! Чернобыля не будет! Не с Украиной воюете, а с Европой! С НАТО! С Америкой! Задницу вам надерут. И тебе, и твоему президенту! Москаль — самое вредное на земле существо! Плесень, слизь! Мы эту слизь соскоблим!

— Соскоблите, говоришь? Вы из “Градов” по детским садам долбите! Это вы соскабливаете? Людей заживо сжигаете! Это соскабливаете? Женщинам животы вспарываете и в ямы бросаете. Соскабливаете? Подожди, ещё в Киеве второй Нюрнберг состоится! И ты там будешь сидеть за военные преступления!

— Сам шею помой! Будешь в Москве на фонаре болтаться!

— Я тебе шанс даю. Бросай своих бандеровцев и фашистов. Переходи на нашу сторону. Пошли к чёрту своих олигархов и воров. И давай, отпусти моего человека Малюту.

— Ах, какая беда с Малютой вышла! Что ж ты раньше-то не просил! Мы твоему Малюте уши и язык отрезали, да и расстреляли. Был Малюта, и нет Малюты!

— Гад кровавый! Встречу — убью!

— Я же тебе должок не отдал. Сейчас пришло!

Курок отвырнул телефон. Его борода дрожала, в ней, набухший кровью, краснел рубец. Через минуту грохнуло на задворках, раз, другой — два снаряда перелетели пшеничное поле и разорвались посреди села.

Рябинин возвращался на позицию и услышал за домами музыку и пение. Улица, выходящая к пшеничному полю, была перерыта траншеей. Бугрились белесые мешки с землёй. Топорщились ещё не расставленные противотанковые ежи. Лежали на бруствере гранатомёты. И тут же собрались ополченцы и местные жители, которых музыка выманила из погребов и подвалов.

Ополченец с позывным “Артист” играл на аккордеоне. Повесив на плечо автомат, перебирал перламутровые клавиши, ловко давил кнопки, растворял малиновые меха.

Его длинное смуглое лицо окружала кудрявая бородка. Над крупным горбатым носом сходились густые брови. Из-под зелёной косынки на затылке выбивались длинные волосы. Он был в пятнистой форме, но вокруг шеи был обмотан розовый шёлковый шарф, а из нагрудного кармана вместо гранаты выглядывал розовый шеголеватый платочек. На ногах были поношенные лакированные туфли, оставшиеся с тех времен, когда он, солист эстрады, выступал с концертами в домах культуры и сельских клубах. Он играл на аккордеоне, пел, открывая белые зубы, и на его лице было мечтательное томное выражение, которое так привлекает к себе немолодых одиноких женщин. Эти женщины, иные почти старухи, вышли на белый свет из своих убежищ, как на звук манка вылетают из чащи осторожные птицы.

Артист исполнял танго. Звуки, сладостные, как мёд, струились в горячем воздухе, пленяли слушателей, оглушённых и поникших среди артиллерийских налётов.

Здесь были и ополченцы, отошедшие от амбразур или прервавшие дневной отдых, столь необходимый перед ночным дежурством. Жила страстно внимал, и было видно, как от наслаждения по его скулам пробегают сладкие судороги. Ромашка мечтательно качал головой, словно музыка несла его по чудесным волнам. Ополченцы, доставившие к переднему краю противотанковые ежи, бросили курить, бережно затоптали окурки и своими одухотворёнными лицами стали похожи на прихожан церкви.

Среди пожилых женщин в неряшливых кофтах, домашних фартуках, небрежно повязанных платках Рябинин заметил высокую статную обительницу дома с каменной башенкой и затейливыми колонками. Она стояла, сложив руки на высокой груди. Голову её украшала тугая коса, а лицо, белое, чистое, было неподвижно, словно высеченное из мрамора. Неподалёку от неё стояла другая женщина, в васильковом платье, в котором прозрачно светилось молодое стройное тело. Рябинин сквозь шёлковую ткань угадывал её колени, бедра, живот.

— Утомлённое солнце тихо с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви... — Артист наклонял голову к великолепному, в перламутре

и серебре, инструменту, упивался его звучанием, своим пением, сладкой, как тягучий сироп, мелодией, которая переливалась из поколения в поколение, пробуждая в сердцах сангвиническую нежность, любовную истому, воспоминание о невосполнимых мгновениях жизни. Его слушали с обожанием. У старых женщин начинали розоветь лица. Они поправляли волосы, одёргивали мягкие кофты. У ополченцев на небритых лицах появлялось незащитное выражение.

Рябинин вдруг вспомнил, как в детстве лежал в гамаке с соседской девочкой, и его нога касалась обнажённой девичьей ноги.

— У меня есть сердце, а у сердца — песня, а у песни — тайна. Эта тайна — ты!

Молодой ополченец Завитуха, не снимая с плеча автомат, пригласил на танец худую, похожую на цаплю продавщицу разгромленного магазина, которая привозила в батальон хлеб. Та сначала испуганно отшатнулась, а потом прижалась к Завитухе, и они танцевали: она, — закрыв глаза и положив ему на плечо голову, а он — улыбаясь пьяной улыбкой, прижимая закопченную ладонь к её худой спине.

— Я возвращаю ваш портрет, и о любви вас не молю. В моём письме упрёка нет, я вас по-прежнему люблю!

Танцевали, пылили стоптанными ботсами и нечищеными туфлями. Старухи умилялись, подперев головы ладонями, смотрели на танцующих. Пшеничное поле, изрезанное танками, белело, и над ним летели стеклянные миражи.

Из проулка выскочил растрёпанный бестолковый мужик в грязно-белой рубахе с шитым воротничком. Блаженно улыбался, открывал беззубые десны. Нелепо размахивал руками. Пустился в пляс. Отплясывал то ли кадрили, то ли гопак. Хлопал в ладоши, шлёпал себя по бёдрам и ягодицам.

Старушки закатывались смехом:

— Пальч-то пол-литра горилки выпил, и полета лет с плеч сбросил!

Жила, какой-то развязанной, вихляющей походкой, с видом наглого ухажёра подошёл к женщине с косой. Стал тянуть её за руку в круг танцующих. Её белое мраморное лицо испуганно дрогнуло. Она сбросила руку Жилы, покрытую синей татуировкой, и пошла прочь. Жила смотрел, как колышется её сильное крупное тело, и рот его скалился в злой весёлой улыбке.

— Встретились мы в баре ресторана, как знакомы мне твои черты. — Артист пропел слово “ресторан”, как одессит, с рокошущим “р” и манерным “э”.

Рябинин смотрел на женщину в васильковом платье, сквозь которое светилось и волновалось молодое пленительное тело. Шагнул к ней, увидев, как ярко обратились к нему её радостные глаза.

Раздался крик:

— Танки!

Аккордеон прорыдал напоследок и смолк. Жители кинулись врассыпную, скрываясь в подвалах. Ополченцы бросились к амбразурам, похватая гранатомёты. Рябинин видел, как исчезает в конце улицы васильковое платье.

Они сидели в траншее, глядя на белое пшеничное поле, по которому двигался танк. Он был далеко и шёл, окружённый солнечной пылью, — плотный тёмный сгусток, за которым летела прозрачная муть. Рябинин видел танк, тусклое сияние гранатомёта в руках у Жилы, ополченцев, сжимавших автоматы и трубы гранатомётов. Комбат Курок прижал к бровям бинокль, ловил далекий танк.

— Один идёт, сука! — Жила нетерпеливо переступал в окопе, нацелив на танк острие гранаты. — А где другие “мусора”? А где БТРы? А где пехота? Всадить ему под самое не хочут!

Танк приближался. Рябинину казалось, что он различает пыльные вихри вокруг гусениц, отливы металла на башне.

— Без команды не бить! — приказал Курок. — Дистанция выстрела — сто метров!

Рябинин ждал, что из танковой пушки полыхнет пламя, и окоп содрогнётся от взрыва. Прижался к брустверу, чувствуя лбом летящий снаряд, его свист, налетающую смертоносную мощь.

Но выстрела не было. Танк приближался. Рябинин видел, как гусеницы мнут колосья. Пыль за танком казалась пыльным солнечным сарафаном.

— Целить под башню! Жила, Ромашка, ваш танк! — Курок напялил на лысый череп стальную каску, отложил бинокль и взялся за автомат. Рябинин, подражая комбату, принял на мушку танк, не понимая, как остановит его автомат тяжкий брусок танка.

Перед танком взметнулся чёрный взрыв, повесил занавеску земли и дыма. Танк пробил завесу, шатнулся в сторону. Стали видны катки, колея, прорезанная в пшенице.

Еще один взрыв за кормой танка, казалось, толкнул его. Танк рванулся вперёд, а потом вильнул и пошёл, наматывая на гусеницы колосья.

— Чумной какой-то! — Жила вел гранатомёт, выцеливая танк.

— Не стрелять! — крикнул Курок, глядя в бинокль. — У него красный флаг!

Рябинин различил сквозь пыль красный, едва заметный флажок, трепещущий над люком водителя.

Танк метался по полю, уклоняясь от разрывов, которые вставали у его бортов. Казалось, чёрные великаны выскакивают из-под земли и ловят танк, а он ускользает от их протянутых рук.

Разрывы прекратились. Танк оторвался от оседающей копоты. Приблизился с лязгом к траншее. Встал, сотрясаясь, потно блестя. В салных катках застряли колосья. На башне сквозь пыль виднелся жёлтый украинский трезубец. Над люком водителя висел линиялый красный флажок.

— Хрень какая-то! — Жила зло смотрел на танк, не выпуская из рук гранатомёт.

Из люка показался танкист, голый по пояс, в танковом шлеме. Отжимаясь на руках, выдвинулся из люка, соскочил на землю и устало сел у гусеницы. Стянул с головы шлем.

— Ты кто, псих? — спросил у него Жила.

— Кто таков? — Курок ударил ботинком стёртый до блеска танковый трек.

Танкист поднялся, худой, с выступающими рёбрами, светловолосый, синеглазый, с растрескавшимися губами. Его пятерни были тёмные от машинного масла, и казались, на них надеты перчатки.

— Сержант Лукомский, вторая аэромобильная бригада. Прибыл к вам. Пригнал танк.

— Снаряды есть? — спросил Курок.

— Боекомплект. Пить хочу.

Ему принесли канистру с водой. Он пил, дрожа кадыком. Ополченцы окружили его:

— Ну, танкист! Ну, братан! А мы тебя чуть не рванули!

Он пил, тяжелея от воды. А, напившись, поднял канистру и стал лить на себя. Рябинин смотрел, как стеклянно блестят его худые плечи.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Рябинин проходил мимо низкой, в два оконца хаты. У калитки его окликнул ополченец Ромашка. Его большое, в золотистой щетине лицо улыбалось. Тёмно-синие глаза смотрели спокойно и ласково.

— Ты — Рябина. А в рябине большая сила. Баба, которая на сносях, рябину ест, у той дети — кровь с молоком. Мужик, который спортсмен или военный, или, к примеру, артист, если рябину ест, всегда победит и конкуре выиграет. Дрозд рябину клюёт и петь начинает. Оттого певчий дрозд! Смекаешь?

— Ты — Ромашка. Корова ромашку жуёт и большой надой даёт, — усмехнулся Рябинин.

— Заходи, покажу мою поликлинику. Я вместо фельдшера, который убёг. Народ ко мне ходит. Я людям травы даю.

— Ты знахарь?

— Знахарь — который знает. А который не знает — пахарь. А который хитёр — шахтёр. Заходи, траву тебе пропишу, — Ромашка пропустил Рябинина на внутренний двор. Там стояли какие-то бочки и тазы с водой зеленоватого и желтоватого цвета. Поперёк двора тянулась верёвка, на которой вяли пучки полевых трав, расхаживала пегая курица, долбя клювом землю. У курицы не было одной ноги, а вместо неё был приторочен искусно выточенный деревянный протез с тремя деревянными пальцами. Курица прихрамывала, что не мешало ей бодро клевать, мерцая зорким глазком.

— Это Кока, — сказал Ромашка, садясь на скамью. — Ей миной ногу оторвало. Я вылечил. Она теперь яйца несёт. Кока, Кока, подь сюда!

Курица подошла, вспрыгнула Ромашке на колени. Тот достал из кармана зёрна пшеницы, и курица стала клевать их с ладони.

— Мы теперь всех увечим и калечим: и людей, и птиц, и цветы полевые. А настанет время, и будем каяться и прощения просить и у людей, и у птиц, и у цветков полевых. Этих укров, которые нас огнём поливают и в которых мы из гранатомётов палим, мы их обнимем и к груди прижмём, и друг у друга станем просить прощения: “Простите нас, братья, что мы натворили в потёмках”.

Из дверей сарая выскочила лохматая вислоухая собака. С радостным визгом кинулась к Ромашке, согнала курицу с его колен. Та недовольно соскочила, прихрамывая, ушла долбить землю. На боку у собаки была плешина, розовела кожа, виднелся свежий рубец.

— Это Стрелка. Ну, иди сюда, милая! Давай, покажи бочок! — Собака повернулась боком, замерла, и Ромашка осторожными пальцами ощупал тощий собачий бок. — Хорошо заживает. Я тебе примочку из подорожника прилеплю.

Собака лизала Ромашке руки, а он говорил:

— Её осколок кольнул. Вот такохонький, как крупа. Под сердцем встал, и она помирала. Сама приползла. Я осколок не вынимал, сам вышел. Я его оттуда выманывал, уговаривал, умаливал. “Осколок, осколок, давай выходи. Я тебя в земельку зарою. Тебе спокойней будет. Тебя за это Богородица любить станет”. А как же, всё с молитвой, всё с помыслом. Богородица всех любит: и людей, и зверей, и птиц, и цветок, и этот осколочек махонький. Руки приставлю, начну молиться, и он помаленьку выходит.

Ромашка сложил чашей большие ладони, приблизил к собачьему боку, и собака от сладости закрыла глаза, блаженно замерла, облучаемая незримым теплом.

Из дома показались две женщины. Одна — высокая, рыхлая, с распухшими ступнями и нечёсаной седеющей головой. Другая — сухонькая, шаткая, с немигающими беловатыми глазами, вцепилась в рукав первой женщины.

— Ромашка, мы чуем, шо ты шось говоришь. Может, ты нас кличешь?

— Подходите, подходите, барышни. Будем принимать водные процедуры. Сперва ты, Мария. Разувайся и в этот таз становца мокрые. Тут шалфей, лучок полевой и клевер, — Ромашка указал на таз с зеленоватым настоем. Женщина скинула стоптанные чоботы, осторожно ступила в таз, раскрыв для равновесия руки.

— Помогает, ой помогает, — говорила она, обращаясь к Рябинину. — Я ить три месяца плакала и днём, и ночью. Как хату мою разбомбили и моего Ивана Трофимовича бомбой убило, всё плачу. Иду — плачу. Ем — плачу. Сплю — плачу. Вся одёжа мокрая, все полотенца мокрые. Слёзы текут, как снег тает. Думаю, помру от слёз. Меня Ромашка к себе завёл и в этот таз поставил. И плакать перестала. Вчера Иван Трофимович приснился. Такой хороший, такой молодой, когда мы с ним в Харькове познакомились. Говорит: “Всё у меня хорошо. Я хату новую построил. Приезжай, жду тебя”. И мне так легко. Должно, скоро помру, увидимся с Иваном Трофимовичем.

Она стояла в тазу и улыбалась. Ромашка зачерпнул из таза горсть настоя и полил ей на голову. Женщина стояла, травяная влага текла по лицу, и она улыбалась.

Вторая женщина, что слепо смотрела перед собой бледно-голубыми глазами, сказала:

— Ромашка, у меня опять в глазах темно. Вчера маленько видела, а сегодня погасло. Ты мне в глаза посвети. А то как я по хозяйству управляться буду? На всё натыкаюсь, всё бью.

Ромашка приблизился к ней. Сжал пальцы щепотью и поднес к её глазам, словно держал две лампочки.

— Давай, повторяй за мной: “Богородица Дева, ясное солнышко. Посвети на меня, чтобы я увидела Твоё девичье лицо, и глазоньки мои посветлели. Чтобы внучку мою Катеньку увидела, когда она к бабушке своей из Ростова вернётся”.

Ромашка держал у её глаз щепоти, потом раскрыл ладони и то удалял, то приближал их к лицу старушки, словно черпал из воздуха свет и вливал ей в глаза. Вращал пальцами, словно ввинчивал ей в глазницы лампочки.

— Ну, как, видишь?

— Трошки вижу, ой, вижу! — воскликнула восторженно женщина и бросилась целовать Ромашке ладони. Тот не отнимал.

— Она не мне. Она Богородице руки целует.

Обе женщины, держась одна за другую, ушли со двора. По двору ходила хромая курица и клевала невидимые крошки, грелась на солнце вислоухая собака, подставляя тепло раненый бок.

Ромашка говорил:

— Тут земли целебные. Тут в травах сила. Тут от земли сила идёт. Эти места Богородица босиком исходила. Война кончится, я здесь санаторий открою. Буду людей лечить. И наших ополченцев, которые раненые. И укров, которых мы покалечили. Тут мы будем мириться.

Рябинин покинул хату целителя и пошёл на край села, принимать пост.

С тех пор, как он перешёл в батальон “Аврора”, который занимал позицию у Петровки, здесь не было серьёзных боёв, лишь редкие перестрелки, тревожащий огонь артиллерии да попытки малых групп диверсантов просочиться в тыл ополченцев. Главные бои шли у соседей. Там украинцы рвались к стратегическому шоссе, атаковали танками, бомбили самолётами.

Ноющий дребезжащий звон донёсся с неба. Зловещий смывок теребил металлическую струну. Рябинин тоскливо прислушивался, вспоминая растерзанную взрывом землю, перевёрнутую самоходку, каталонца Аурели, воздевшего руку в предсмертном приветствии, обрубки ног, красные, как горящие головни. Отыскал в небе серую стрелку штурмовика, который в выраже сверкнул на солнце. Ждал, когда издалека над полем прокатятся глухие разрывы.

— Мой батька в Днепропетровске на аэродроме служил диспетчером. — Молодой ополченец Завитуха из-под ладони смотрел в небо, стараясь разглядеть самолёт. — Как началась мясорубка, он подал рапорт. “Не желаю участвовать в карательных операциях против народа”. Его прессовали, довели до инфаркта. Лежит, болеет. Повидать бы его, смотаться в Днепропетровск, — его серые глаза тоскливо смотрели на голубые холмы, за которыми лежал его больной любимый отец.

— Ты поезжай к отцу, Завитуха, — хохотнул Жила. — Тебя через час отловят и за яйца повесят. Отцу на показ. Они всех нас давно вычислили, и для каждого пуля готова. Если тикать отсюда, только в Россию. Сибирь всех спрячет.

По улице, пыля, прогремел грузовичок, остановился у опорного пункта. Из кузова соскочили два ополченца в чёрных комбинезонах и балаклавах. Осторожно достали две длинные трубы и повесили их на ремнях на плечи.

— Где комбат? — спросил один, мерцая из прорезей балаклавы чёрными глазами.

Курок шёл им навстречу. Поздоровались, отошли в сторону. Курок что-то им объяснял, указывая на поле, на редкую лесную посадку, на пустое знойное небо. Неся на плечах трубы, двое в балаклавах двинулись краем села, таясь в садах, туда, где начиналась чахлая лесопосадка. Грузовичок с водителем остался у опорного пункта.

— Ловцы самолётов, — сказал Жила. — Из этих херовин долбят по самолётам. Если бы у нас были такие, я бы наколотил их, как ворон. А то

что с этой пукалкой сделаешь? — он презрительно перебросил из руки в руку поношенный автомат. Татуировка на голом плече заиграла голубыми драконами.

Рябинин сидел в прозрачной тени пирамидального тополя, глядя на стреляные автоматные гильзы, втоптаные в сухую землю. Летели над полем стеклянные миражи. Далёкие холмы, казалось, плыли в слюдяном воздухе, как волшебные острова. Он вдруг подумал о женщине в васильковом платье, той, что вчера вышла из разрушенных хат и поломанных садов на звук аккордеона. Стояла, пьяно внимая сладостному пению Артиста. Её шёлковое платье было прозрачно на солнце, в нём светилось стройное тело. Её голая рука была золотистой от загара. Зелёные глаза щурились, дрожали, смеялись, когда Рябинин шагнул к ней, приглашая на танец. Она была где-то рядом, среди проломанных стен и просевших крыш. А его московская подруга, которой он признался в любви, была страшно далеко, отделена от него не только пространством — этим изрезанным танками полем, Саур-Могилкой, перевёрнутой гаубицей, сгоревшими у обочин боевыми машинами пехоты, — но и разорванным временем, которое совершило вдруг грозный вираж, чудовищный завиток, подхватило его и понесло в другую, небывалую жизнь, в непредсказуемую судьбу, удаляя навсегда от московских компаний, литературных кружков, легкомысленных увлечений. Тот грозный и страшный опыт, который он приобрёл, ещё не был усвоен, он ещё громоздился в нём, как те монументы с оторванными носами, выбитыми глазами, изуродованными телами. И хотелось, чтобы к этому чудовищному нагромождению прикоснулась волшебная сила, умерила боль, укротила ярость, смирила ненависть. Прикоснулась та загорелая женская рука, к которой он потянулся под сладкую музыку танго.

Рябинин услышал дребезжащий металлический звон, падающий с бледного неба. Пошарил глазами, отыскивая в пустоте серый треугольничек самолёта. Следил, как отточенно и беспощадно мчитя штурмовик к невидимой цели. Из лесопосадки сквозь чахлые тополя взметнулось белое курчавое щупальце. Понеслось, догоняя в синеве самолёт, соединилось с ним, превращаясь в бледную вспышку. Негромкий хлопок долетел до земли. Там, где мчался самолёт, возникла пышная кудрявая папаха. Белесые космы стали распадаться, тянуться к земле. А над ними появился белый, прозрачный, похожий на зыбку медузу парашют. Раскачиваясь, он стал опускаться, сносимый воздушным потоком в сторону села.

— Ага, “мусор”, отстрелили яйцо! — Жила, ликуя, воздел руки, словно звал к себе парашют. — Ко мне, ко мне! Я тебе второе оторву!

Из домов, из развалин высыпал народ. Смотрел, как падают далеко на поле дымящие осколки самолёта, как раскачивается парашют, и под куполом, похожий на летучее семечко, темнеет лётчик.

— А ну, давай, гони! — Жила заскочил в кузов грузовичка, хлопнув кулаком по кабине. — Мы его заберём!

В кузов с ловкостью и азартом ловца успел заскочить ополченец Завитуха. Рябинин разглядел, как у него и у Жилы глаза сверкают одинаковым охотничьим блеском.

Народа на улице становилось всё больше: старухи, старики, малолетки, прервавшие дневной отдых ополченцы. Шумели, указывали, кто в небо, кто за село, кто в поле, где далеко, чуть видные, курились обломки.

На улицу влетел ошалелый грузовичок. За крышу кабины, в рост, держались Жила и Завитуха. На коленях, окружённый пузырящимся шёлком, стоял пленный лётчик. Он был без шлема, в синем лётном комбинезоне. На худом лице его кровенели ссадины, синие глаза безумно вращались. Руки были связаны за спиной обрезком стропы, а её конец намотал на кулак Жила.

— Давай, вылазь, мусор! — Жила пихнул ногой пленного, тот неумело стал перебираться через борт. Упал, и Жила дёргал за стропу, понукая его подняться. — Вставай, сука бандеровская! Погляди народу в глаза!

Пленный стоял на коленях, вращая шеей, со связанными за спиной руками. Когда он начинал клониться, Жила дёргал стропу, словно взнуздывал его, не позволяя упасть.

— Смотрите, люди, на эту суку бандеровскую! Это он, сука драния, вас бомбил, сжигал заживо! Хотите — башку ему оторвите! Хотите — повесьте! Если попросите, я ему сам пулю в мозг всажу!

Люди стояли, обступив пленного, боясь перешагнуть невидимый круг, словно от лётчика исходила мертвящая сила, продолжавшая губить и мучить.

Рябинин смотрел на оглушённого лётчика и думал, не тот ли это, кто направил ракету на его товарищей из батальона “Марс”? И жуткая воронка, по краям которой лежали обрубки тел, лишние кишки, оторванные головы... Так не он ли убийца его друзей?

— Я русский, — произнёс лётчик, стоя на коленях. — Русский я, Терентьев Василий. Не по своей воле! Приказ!

— Ты сволочь, а не русский, блядин ты сын, — просипел старик с костяными глазами, на дне которых стояли не просыхающие тёмные слезы. — Мою Марфу Никитичну убил, я её по саду два дня собирал.

— Ой, люди мои горькие, и за что нам така беда! — Женщина в мятом платье, под которым болтались вислые старушечьи груши, заломила руки. — Жили, робыли, грошы были, хлеб був, что нужно — купляли! Всё пожгли, поломали! Деток повывали! Кто не убёг, того разбомбили! На кладбище земли не хватает — в садах хороним! И за что на нас таки гады напали, и бомбят, и пуляют! Пусть бы им бомбой по голове залепило!

— Воны русские, а хуже немцев! Воны нас со свиту сгоняють! Шо нам с им робить? Убить его, биса! — измождённая женщина с длинными худыми руками кинулась к пленному и стала бить его костяными кулачками. — Бис ты, бис и есть!

Пленный уклонялся от ударов, крутил головой, повторяя:

— Русский я, русский! Терентьев Василий Петрович!

— Врёт он! Не русский, а фашист кровавый! — неистово и радостно крикнул Жила, дёргая за верёвку. — Бей фашиста кровавого!

Этот сумасшедший радостный крик колыхнул людей. Они кинулись к пленному. С визгом, бранью, вздымая и опуская кулаки, люди стали молотить лётчика, рвать на нём волосы. Кидали в него камнями, горстями пыли, били подхваченными кольями и шкворнями.

Жила, отпустив верёвку, отступил и смотрел, как убивали пленного.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

У ополченца Завитухи умер в Днепропетровске отец. Он перенёс несколько инфарктов после допросов в службе безопасности и не вынес тревожений, выпавших на его долю. Последний инфаркт унёс его жизнь. Завитухе позвонила по мобильнику мать. Сказала, что похороны через день и что отец перед смертью всё повторял имя сына.

Завитуха зарыдал. Спрятал телефон в карман камуфлированного “лифчика” рядом с гранатой и стал собираться в дорогу в Днепропетровск, чтобы успеть на похороны. Его отговаривали. Укры, их служба безопасности, схватят его прямо у гроба отца. Все ополченцы, их позывные, имена, номера мобильных телефонов известны укрпам.

Завитуха отмахивался. Спрятал под матрас автомат, камуфляж, натянул мятый пиджак, и глаза его были полны слёз.

Позвали комбата. Курок явился из штаба и строго, проталкивая сквозь рыжую бороду слова, выговаривал Завитухе:

— Отставить! Оружие не прятать! Марш на боевое дежурство!

— Еду домой, командир. Надо поспеть к отцу. Послезавтра хоронят. Мать сказала, чтоб приезжал. — Завитуха упрямо, не глядя на комбата, засовывал под матрас автоматные рожки, балаклаву, ручной фонарь — весь небогатый скарб ополченца, который ему не пригодится в дороге.

— Ну, ты понимаешь, Завитуха, куда ты идёшь? За линией фронта тебя уже ждут, сразу скрутят. Твой телефонный разговор с матерью отселили. Ну, если не за линией фронта, то прямо у гроба отца, у могилы, на поминках. В наручники на глазах у матери закуют и — в застенок. До смерти замучают.

— Я должен с отцом повидаться! Не успел при жизни, так хоть в гробу посмотрю...

— Да отец, если б мог, сказал бы тебе: “Куда ты, сынок? Они тебя прямо у моей могилы застрелят. Ты лучше живи, сражайся, отмсти за меня”.

— Я уходил в ополчение, отец сказал: “Воюй. А будет отпуск, приезжай, хочу с тобой повидаться”. У меня ближе отца никого нет. Он был авиадиспетчером на военном аэродроме. Когда я был маленький, мы с ним авиамодели клеили: “Тушки”, “Илы”, “Анны”, “Миги”, “Сухие”. Я все самолёты знал. Он говорил: “Будешь лётчиком — я твой самолёт стану сажать без очереди”. Теперь не посадит. Хочу отца увидеть в последний раз. В лоб холодный поцеловать.

— Ты ещё летаешь, Завитуха! Выше всех взлетишь! Когда победим, мы такой самолёт построим, какого мир не видал! Ты будешь лётчиком, Завитуха! А теперь прощу тебя! Как отец прощу... Оставайся здесь. Ты здесь нужен.

Рябинин услышал низкий хрипящий свист. Этот свист вонзился в сады и хаты, рванул воздух, с треском выламывая из земли корни и фундаменты. Грохот ушёл в небо, и стали слышны тихие стуки — это в садах падали на землю яблоки.

Новый удар. Волна горячего ветра. Секущий свист срезал ветки, кидал ввысь обломки шифера, оторванную дверь, вырванное дерево.

Рябинин видел, как застыла в стеклянном небе яблоня — корнями вверх, плодами вниз. Не успел он изумиться зрелищу перевернутого мира, как услышал железные удары, идущие к селу со стороны поля. Среди белой пшеницы чёрные взрывы, словно шагали по полю косматые великаны, приближались к селу, готовые его растоптать.

— Все в траншею! — крикнул комбат, загребая сильной рукой Завитуху, смахивая его в глубину окопа.

Все бежали, прыгали в траншею, натягивали каски. Жила дёрнул Рябинина, пихнул в окоп. Рябинин, прижавшись к стенке окопа, слышал, как вздрагивает земля. Взрывы приблизились, накрыли окоп вешешками, чёрными горячими комьями. Перешагнули траншею и пошли ломать село. Хрустели взорванными хатами, толкали ступки зловонного дыма.

Рябинин упал на дно окопа, стиснул руками уши, закрыл глаза. Испытывал ужас, рвотный, сдавивший живот, натянувший в судороге все сухожилия. Ему казалось, чудовищная сила, дохнувшая на него когда-то из чрева разбитой машины, теперь пришла за ним. Ищет в избах, всаживая в них снаряды. Ищет в садах, подбрасывая в небо яблони и зарытых под ними мертвецов. Ищет в окопе, нащупывая среди ополченцев, освещая их лица яркими вешешками. Он разбудил чудище, нарушил его дремоту, когда с весёлым азартом стрелял по беспилотнику. Когда убил украинца, и тот перед смертью харкнул в него кровью. Когда смотрел на воронку с растерзанными телами товарищей. Когда рыдал над гробами, из которых смотрели каменные белые лица. Когда поднимался на Саур-Могилу среди расстрелянных монументов, стараясь не наступить на оторванные носы и отсечённые губы. Когда смотрел, как убивают лётчика, а тот, умирая, всё лепетал: “Я русский! Я русский!” И минуту назад, когда увидел в небе вырванную с корнем яблоню, и дерево впивалось корнями в стеклянную пустоту.

Всё это пронеслось в его обезумевшей голове как нерасчленимый клубок тоски и страха.

Чувствуя, как настигает его чудище, тянет к нему свои грохочущие раскалённые лапы, Рябинин стал молиться:

— Господи, спаси меня! Спаси меня, Господи! Мама, спаси меня!

Грохот оборвался. Белёсый тихий дым накрыл окоп. Шурша, сыпались ему на голову комочки земли.

Ужас отхлынул, сменился робкой благодарностью к Заступнику, накрывшему окоп светлым пологом.

Но это блаженное облегчение длилось недолго.

— Танки! — понеслось по окопу, приближаясь к Рябинину. — Танки, мать их ети! — крикнул Жила, вставая в рост, хватая лежащий на бруствере гранатомёт.

Рябинин поднялся, положил автомат на сыпучий, нагретый солнцем бруствер и увидел танки.

Три машины шли по пшеничному полю. Они были ещё далеко, за ними поднималась вялая солнечная пыль. Средний танк обогнал остальные два и шёл теперь впереди, проедавая в колосьях дорогу. Солнце загоралось и гасло на серой броне. За танками катили два транспортёра, на переднем виляя жёлто-голубой украинский флаг.

— Огонь не открывать! Огонь с расстояния триста метров! — Курок передавал вдоль траншеи команду. Подносил к губам рацию:

— Артиллерия, выходи на рубеж! Стреляешь прямой наводкой!

Рябинин смотрел только на головной танк. Вся его воля, бурно стучащее сердце, острая зоркость, накалённое солнцем лицо, натянутые сухожилия — всё было устремлено к танку. Рябинин останавливал танк, не пускал, давил на броню, отталкивал назад в продавленную колею. Танк замедлял ход, почти останавливался. Сила зраков превосходила силу раскалённого двигателя, вращающихся катков, бега гусениц. Но это превосходство длилось недолго. Сила зрачков иссякала, и танк вновь стал набирать скорость.

Рябинин черпал из себя всю отпущенную ему жизнью энергию, выдаивал из каждой клеточки, из каждой частицы мозга, направлял в зрачки и оттуда — навстречу танку. Он вновь его почти останавливал, не пускал, замедлял его ход.

И вновь, обессилев, сникал. Он видел, как танк прибавляет скорость, а за ним следовали два других, и, приотстав, катили зелёные бруски транспортёров. И так велика была его страсть, так неодолима была его воля, так притягивал его, не отпускал этот первый танк, что Рябинин, как в бреду, стал карабкаться на бруствер, стремясь навстречу танку.

— Балда чёртов, куда? — Жила стянул его обратно в окоп, больно ткнув в бок.

Из головного танка польхнуло. Удар пришёлся по мешкам с песком: ошметки ткани и брызги песка ударили в окоп. Ещё два снаряда с недолётом взорвались в пшеничном поле, и осколки просвистели, как стая стальных стрижей.

— Не стрелять! Подпустить ближе! — командовал Курок. Рябинин видел, как Жила направляет на танк трубу с заострённой гранатой. Гранатомётчики целились в танки, поводя трубами от одной машины к другой.

На танковой броне, на башнях БТРов затрепетали огоньки. Пулемёты били наугад, сеяли пули вдоль окопов, в соседних садах, рыхлили землю среди стальных противотанковых ежей.

— Санитара на левый фланг! — понеслось по окопу, удаляясь от Рябинина и стихая среди постукивания пулемётов.

Рябинин видел, как БТРы замедлили ход. Из них стали выпрыгивать солдаты в касках, с автоматами, окружали транспортёры, прятались за их кормой, теряясь в пыльных шлейфах.

Мерное движение машин, их неуклонное приближение, жестокая спокойная мощь, сулившая смерть, рождали у Рябинина тоскливую безнадежность, злое нетерпение, безумное отчаяние, готовое превратиться в панику. Он приподнял автомат и стал выцеливать средний танк, сажая на мушку серую машину. И опережая его, срываясь, не дожидаясь команды комбата, окоп загрохотал автоматами, зачавкал автоматическими гранатомётами, метнул курчавые дымные трассы с красным угольком гранат.

— Огонь! По танкам! Артиллерия, жги! — комбат хрипел в рацию, вскидывая кулак, словно грозил танкам.

Рябинин, захваченный вихрем, отбиваясь от близкой смерти, стрелял в танк, переводил ствол на БТР с пехотой, бил в облако пыли, в котором мелькали солдаты.

Стрельба была неистовой. Он был готов отбиваться пулями, уколами штык-ножа, ударами приклада. Был готов грызть танк зубами, впиваться в него ногтями. Его ярость и ненависть хлестали жаркой болью, и он стрелял, пока не опустошил магазин.

Рядом, ухватив рукоятки автоматического гранатомёта, Артист сеял в поле череду взрывов, словно высаживал перед танками косматые заросли. Завитуха что-то кричал, долбя из пулемёта. Курок всё грозил кулаком, и на его запястьях играли синие жилы.

Рябинин видел, как на левом фланге, из садов, полетел курчавый след. Граната играла золотым огоньком. Коснулась танка, рассыпалась бенгальскими искрами. Отскочила в сторону и пошла прыгать по полю, пока не погасла в пшенице. Танк замер. Некоторое время стоял, а потом двинулся, отвернув в сторону, туда, откуда прилетела граната.

Две другие машины повернулись и пошли туда же, польхая из пушек, сметая на своём пути сады и хаты.

— Ты мне ещё жопу покажешь! — Жила пританцовывал в окопе, вёл за танком гранатомёт. Вот остановил его, прильнул к прицелу, приоткрыв рот с белыми собачьими зубами, и пустил гранату. Она коснулась головного танка, ушла внутрь, и оттуда шарахнул взрыв. Танк подпрыгнул. Замер, клонил пушкой. Из люков и щелей сочился серый дым.

— Такой базар! — Жила хохотал, хлопал себя по бёдрам, приплясывал, извергая бурлящую блатную бессмыслицу. — Мой танк! Не тронь!

Два другие танка развернулись и стали уходить. Пехота загрузилась в транспортёры, и те на большой скорости удалялись. А им вслед били автоматы, грохотали пулемёты. Рябинин всаживал в пылевое облако длинную очередь и ликовал, наливаясь счастливой силой. Ополченцы, торжествуя, падали в воздух.

И вот настала тишина. Над белой измятой пшеницей светило солнце. Подбитый танк одиноко темнел в поле, окружённый металлической дымкой.

— Молодец, Жила. Благодарю за службу. — Курок обнял Жилу, и тот молодцевато, слегка кривляясь, произнёс:

— Служу Донбассу и рабочему классу!

Подожёл начальник штаба и доложил:

— Один “двухсотый” и трое “трёхсотых”.

Рябинин видел, как двое ополченцев пронесли носилки. Под стёганым одеялом бутрилось тело, торчали грязные продранные кроссовки.

Остаток дня прошёл спокойно, без выстрелов. Ополченцы на открытом воздухе варили еду. Дым был сладкий — на дрова шли стволы и сучья сломанных яблонь.

Под вечер, когда солнце начинало краснеть, снижаясь за селом, Жила подошёл к Рябинину:

— Слышь, Рябина, айда к танку смотаемся.

— Зачем?

— Поглядим, кто танкисты. Через два дня не подойти — вонять будут.

— А, может, они живы. Дожидаются ночи, чтобы уйти. Мы подойдём, а они из пулемёта.

— Дурило, от них лепёшки остались. Я башню прожёт, и боекомплект сдетонирует. Их всех там внутри размазало. Пойдёшь? В случае чего — прикроешь.

— Ну, пойдём, — ответил Рябинин, глядя на танк, окружённый прозрачным чадом.

Они взвели автоматы и двинулись по пшенице к танку: Жила — впереди, Рябинин — сзади. Обходили воронки с жирной землёй, готовые упасть в колосья, если из танка застучит пулемёт.

Приблизились к неподвижной машине. Гусеницы провисли. В катках застряли колосья. Крышка люка была открыта, и над ней туманился воздух, словно из танка истекала таинственная жизнь. Пушка бессильно склонилась, а на башне, среди чешуи защитных брусков, виднелось оплавленное отверстие, сквозь которое в танк проник смертоносный огонь и уничтожил машину.

Жила прислушался, приложил ухо к броне. На лице его появилось чуткое опасливое выражение, как у охотника, который приблизился к убитому зверю, но готов отскочить, если зверь очнётся.

— Тихо, ни звука, ни пука! — произнёс Жила и вскочил на броню. Опустил в люк ствол автомата, следом просунул голову:

— Ну, и дела, Рябина! Танкисты черножопые!

Рябинин, хватаясь за скобы, влез на танк. Броня была тёплой, от неё исходил запах гари, от которого слегка жгло ноздри.

— Смотри, Рябина, какая хрень! — Жила изумлённо приглашал Рябинина заглянуть в люк, словно там находилось нечто чудесное. Рябинин осторожно заглянул.

Нутро танка было в рыжей окалине, с обрывками проводки, с огрызками металла. Среди ломаных уступов на сиденье поместился танкист. Его шея казалась скрученной, как скручивают полотенце, выжимая воду. Грудь была расплющена, а живот жутко раздулся. Оторванная рука застряла среди обгорелых уступов. Другая рука, тоже оторванная, повисла в пустом рукаве. Танкист был чёрный. На чёрном маслянистом лице, выдавленные взрывом, голубели глазные яблоки. Пухлые губы раскрылись, и среди белых зубов виднелся красный язык. На оторванной руке блестел золотой перстень. На скрученной шее поблескивала золотая цепочка. На второй руке желтел браслет разбитых часов. В глубине танка, на кресле механика-водителя, виднелся второй чернокожий, помятый, раздавленный взрывом. Пахло парной плотью, горелым пластиком, пороховой вонью.

— Ну, что, Рябина, негров давно не видал? Давай с них шкуру сдерём и кошелек наделаем! — Жила хохотал, отодвинул от люка Рябинина и полез внутрь танка.

Рябинин испытывал отвращение от зрелища изувеченных тел. Он был поражён тем, что среди украинской пшеницы в подбитом танке находились негры, которых принёс на эту войну неведомый вихрь, летающий по земле, собирающий для этой войны будущих мертвецов.

Он стоял на броне, и у него кружилась голова от непонимания этого мира, в центре которого находился подбитый танк с мертвецами, а красное солнце по-прежнему безмолвно светило из космоса.

Жила возился в глубине танка, кряхтел и чертыхался. Рябинин заглянул в люк.

Жила держал оторванную руку с пепельно-серой ладонью и снимал с пальца перстень. Сунул в карман и стал совлекать с закрученной шеи золотую цепочку.

— Жила, ты что, охренел? Ты что, мерзавец, делаешь?

— Заткнись, сука! Мой танк! Я здесь бесплатно воюю! А это мне компенсация! На послевоенные годы!

Он ловко снял часы с золотым браслетом. Стал опускаться на сиденье механика, толкая ногой мертвеца.

Рябинин с отвращением спрыгнул на землю. Скоро из танка вылез Жила. Его лицо было злым, словно он ждал, что у него отнимут добычу. Они возвращались в село, и Рябинин испытывал гадливость к Жиле, к смердящему танку и к себе самому, участнику этого гадкого дела.

Ночью ему приснилась яблоня, застывшая в стеклянной синеве, корни-ми ввысь и с кроной, обращённой к земле. Корни яблони питались хрустальной силой небес, а глянцевиная листва и чудесные плоды были обращены к Рябинину. И он тянул к ним свои обожающие руки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Рябинина вызвали в штаб. Комбат Курок готовился идти по домам, что-бы раздавать продукты обездоленным селянам. В штабе ополченец Лавр, ведавший продовольствием, укладывал в мешок банки стущёнки, мясные консервы, буханки хлеба, пакеты с макаронами. Лавр был остронос, проничен, с железистыми бачками и длинными едкими губами, на которых играла недоверчивая улыбка. Прежде он работал на шахте бухгалтером и в ополчении вёл учёт продовольствия и боеприпасов.

Комбат Курок, в португезе с лакированной кобурой “стечкина”, сидел на стуле под красным знаменем. На бархатном полотнище жёлтым шёлком был вышит профиль Ленина и красовалась надпись: “За нашу советскую Родину”!

— Давай, Лавр, не жадничай. Клади больше сгущёнки. Детишек подсластим, стариков утешим. — Курок следил, как прижимистый Лавр пересчитывает банки.

— Да куда больше-то! — упрямылся Лавр. — Своим не хватает!

— А они, которые по подвалам сидят, они чужие? Народ не чужой. Мы за этот народ воюем. Последнее ему должны отдать. Не только сгущёнку, но и жизнь. — Лысый, с блестящим черепом, с рыжей косой бородой, сидя под красным знаменем, перетянутый португеей, Курок напоминал Рябинину командира времён гражданской. И впервые за многие дни он подумал о книге. О том, как опишет рыжебородого командира, восседающего под красным полотнищем.

— Всё оно так, Курок, — едко хмыкнул Лавр. — Мы за этот народ воюем и жизни кладём. А где, я спрашиваю, мужики молодые призывного возраста, которые в этом селе проживают? Все в Россию сбежали, старух и детишек побросали. Почему не берут “калашникова”, не идут на блокпост?

— Ничего, Лавр. Скоро вернутся. Я клич бросил, в интернете призыв разместил. Чтобы народ к нам из России ехал, в батальон “Аврора”. Будем на основе батальона создавать Красную армию. Как в Советском Союзе.

— Да где он теперь, Советский Союз? — Лавр махнул рукой, в которой держал банку тушёнки. — Кошка языком слизнула.

— Вот знамя, видишь? Знамя полка Первого Украинского фронта. Это и есть Советский Союз. Здесь, в Петровке, территория Советского Союза, которую мы отбили у врага.

— Ну, да, Советский Союз, и столица его — Петровка! — Лавр поддразнивал комбата, предвкушая политический спор.

— Сейчас Петровка, а завтра и Устиновка. И Луганск, и Донецк, и Макеевка, и Горловка. А также Красный Луч, Краснодон. Перейдём в наступление, и в состав Союза войдут Мариуполь, Одесса, Запорожье и Харьков. И Николаев, и Днепропетровск, и Киев. Под этим Красным знаменем пройдем по Крещатику, и люди будут встречать нас хлебом-солью!

— Что, и в России будут встречать? — Лавр наивно ахнул, а сам смотрел на комбата едким колочим взглядом. — И в Россию понесём Красное знамя?

— Россия сама к нам придёт, и мы её встретим хлебом-солью, — твёрдо произнёс Курок.

— Что-то она не торопится к нам, комбат. В Крым пришла, хорошо. “Своих не бросаем”. “Без единой капли крови”. Там без единой, а здесь мы кровью умыты. Разве мы не свои для России? Где она? Где её танки, зенитки? Почему она смотрит, как нас убивают?

— Погоди, не настало время. Придёт Россия, и будут танки, и гаубицы, и “Ураганы”, и самолёты. Ты думаешь, в Москве про наш вчерашний бой не знают? Про Саур-Могилу не знают? Про обстрелы Донецка не знают? Знают. Готовят войска. Скоро ударят.

— Несправедливо это, комбат. Мы здесь не за себя воюем, а за Россию. А она нас не видит. Несправедливо.

— Всё будет по справедливости, Лавр, поверь! Справедливость правит миром, и как бы её ни топтали, как бы ни издевались, а победит справедливость. Победит Советский Союз!

Курок произнёс это торжественно и вдохновенно, как произносят слова любимого стихотворения. Рябинин видел перед собой верующего человека. Курок, лысый, с изуродованным лицом, казался прекрасным, словно был окружён едва уловимым сиянием.

— И я в это верю, комбат. Если бы не верил, не взял бы автомат, — кивнул Лавр.

— Погоди, Лавр, — комбат протянул к нему осеняющую руку. — Мы ещё пройдем парадом по Красной площади — все батальоны, которые защищали Донбасс. Проедем на танках, на самоходках, на БТРах, под флагами Новороссии. А это знамя взвѣется над Кремлём. Победное знамя Красной армии! — Курок тронул тяжѣлый, потемневший от времени бархат.

В подвале разгромленного магазина в полумраке скопились старухи и дети. Пахло сыростью, тленом. Из дверей морозильника тянуло испорченной рыбой. Сквозь проходы снаружи бил луч света. Нары у стен, скомканные одеяла, стол, на котором лежало несколько яблок, длинная скамья, где в ряд сидели старухи в платках и кофтах. К ним жались дети. Испугались вошедших, стихли. Только маленькая девочка в коротком платьице продолжала кружиться на тонких ножках.

— Здравствуйте, граждане, — бодро приветствовал их Курок, привыкая после солнца к сумеркам. — Командование батальона “Аврора” решило выделить вам из своих запасов некоторую часть продовольствия. Тут и мясные консервы, и сгущёнка, и макаронны. Одними яблоками не прокормиться, — Рябинин и Лавр вытаскивали из мешков банки, пакеты, буханки зачерствелого хлеба. Складывали на стол. — Мы вам всё оставляем. Другие пусть приходят. Вы уж сами поделите, по справедливости.

Было видно, что Курок испытывает удовлетворение, наделяя измученных людей продовольствием.

— Спасибо вам! — жалобно благодарила старуха.

— Храни вас Господь. Как без пенсий, без магазинов жить? Совсем отоцали, — вторила слёзно другая.

— Вчера был бой. — Курок воздел руку, как оратор, обращаясь к старухам. — Танки противника в сопровождении пехоты пытались прорваться к Петровке и выйти на стратегическое шоссе Донецк — Луганск. Но мужественными и слаженными действиями батальона “Аврора” противник был остановлен и обращён вспять. Мы сражались за вас, дорогие граждане. За вашу свободу. Ваше село остаётся свободным и будет таковым оставаться.

Рябинин испытывал неловкость, слушая комбата. Тот, казалось, не чувствовал неловкости своей пафосной речи в этом тоскливом подzemелье, среди понурых старух и испуганных детей. Маленькая девочка перестала танцевать, обратила к комбату свое бледное личико. Рябинин видел её хрупкую шейку, шаткие ножки, прозрачные волосики, на которые падал луч света.

— Ой, горе ты, горе! — тяжело вздохнула рыхлая старуха в красной кофте. — Думаю, чем всё терпеть, выйду-ка я из подвала, и пусть меня снарядом приобьёт, чтобы не видеть всю эту беду. А с этими что будет? — она притянула к себе двух белоголовых мальчиков. — На кого их оставлю? Ихние мать и отец отбегали в Россию, сказали: “Скоро вернёмся”. И негу их.

— При немцах лучше было, — скрипуче произнесла древняя старуха, замотанная тёплыми платками и шерстяными кофтами. — Немцы хаты людям оставляли. А тут все хаты побили. Как зимовать? Ни газа, ни дров. Померзнем. Из зимы никто не выйдет.

— Не поддавайтесь унынию, граждане. — Курок бодро взмахивал рукой, словно дирижировал, желая извлечь из оркестра бравурную музыку. — После победы всё восстановим: новые хаты, школу, газ проведём.

В наступившей тишине раздался слабый голосок. Девочка, продолжая смотреть на комбата, спросила:

— А когда меня убьют, больно будет?

Рябинин почувствовал, как хлынули к глазам жаркие слёзы и остановились, не в силах пролиться.

С лавки вскочила худая женщина в нахлобученной зимней ушанке, кинулась к комбату и стала трясти у его лица костистыми кулаками, визгливо и хрипло выкрикивая:

— Щоб ви сдохлы, бисы! Щоб вас повбивало, клятых! И слиду вашого нэ залишилося! Кто вас сюди кликав, бисовы души! До вас жили, було все, будинки, городи! Хлеб сияли, прибирали! Ви прийшли, и все зруйновали! Усих повбивали, каты проклятии! — она кидалась на Курка. Лавр перехватил её сухие запястья. Другие женщины тянули её назад, на скамью.

Курок, бурля неразборчивыми словами, пошёл к выходу. Следом шли Лавр и Рябинин, слыша за спиной детский плач.

Они шли по селу. Курок долговязо шагал, бурно дыша. Его лысый череп воспалённо блестел на солнце, рыжая борода от возбуждения съехала набок. Кобура со “стечкиным” скакала на бедре от быстрой ходьбы.

Проходили мимо дома с затейливыми колонками и башенками. Навстречу из калитки, из цветущего палисадника, выбежала женщина, та, которой однажды любовался Рябинин — её печальной статью, беломраморным лицом, уложенной вокруг головы косой. Теперь коса рассыпалась спутанными космами, на белом лице краснели ссадины, из губы сочилась кровь. Платье на груди было разорвано, и женщина, придерживая обрывки, рыдала:

— Он бил, насильничал! Он сказал: “Воды попить”. Я пустила. Он ударил, автомат наставил! Снаильничал! Залез в шкатулку! Взял золотые колечки, цепку с крестиком, сережки с камушками! Кто защитит? Ой, горе, мамочка моя! Ой, да зачем мне такой позор!

— Кто? Кто? — рявкнул Курок. — Кто насильничал? — Его лицо побледнело, под бородой ходили бешеные желваки. — Кто, скажи, этот вор?

— Ой, мамочка, ой, не знаю! Автомат наставил! Все колечки, цепочки, которые от свадьбы остались! Ой, куда мне теперь бежать! — она, было, кинулась по улице, косматая, с голыми ногами, удерживая среди обрывков платья тяжёлые груди.

— Стой! — схватил её за руку Курок. — Сейчас батальон построю, покажешь суку! Лавр, батальон к построению!

Через десять минут перед магазином на площади был выстроен батальон. Солнце жгло на небес, ополченцы топтали свои короткие круглые тени. Одни были с оружием, взятые с постов. Другие подняты с коек, на которых отдыхали после ночного дежурства. Стояли неровным строем, в бронежилетах, пятнистых тужурках, в домашних рубахах и куртках. На головах каски, косынки, картузы, шляпы с приподнятыми полями. На ногах ботсы, стоптанные туфли, спортивные кроссовки. Всё пестрое воинство, явившееся защищать Донбасс из дальних городов и селений.

Рябинин стоял в строю, глядя, как комбат, яростный, с выпученными синими глазами, озирает батальон, подталкивая вперёд женщину в растерзанном платье.

— Смотри! — толкнул он её к строю. — Укажи суку! Кто тебя изнасиловал?

Женщина, плача, боясь отпустить обрывок платья, прикрывавшего грудь, пошла, загинаясь, вдоль строя. Остановилась перед Жилой, который насмешливо, зло смотрел на неё.

— Этот! — крикнула она. — Он автомат наставил!

Курок метнулся к Жиле, выволокнул из строя:

— Ты?

— Да ты что, командир! Первый раз бабу вижу! — Жила набычился, зло смотрел на комбата и женщину. Мускулистые руки, выступавшие из пятнистой безрукавки, играли синей татуировкой. Поглаживал автомат. Был готов сдернуть его с плеча.

— Он! — стонала женщина. — Колечки взял, которые от мужа остались!

— Отдай оружие! — Курок дёрнул автомат, и Жила, не сразу выпустив ремень, выступил на шаг из строя. — А ну, покажи! — Курок набросил автомат себе на плечо, стволом вниз, и стал обыскивать Жилу, шарить по карманам его пятнистой безрукавки. Из кармана длинные дрожащие пальцы комбата вытянули золотую цепочку с крестиком. Следом на землю посыпались колечки, сережки, блестящие украшения.

— Твои? — обернулся Курок к женщине. Она кивнула, всхлипывая. — Забирай! — та схватила цепочку, стала поднимать с земли кольца и украшения.

— Батальон! — хрипло, срываясь на клекот, крикнул Курок. — Мы пришли сюда, на священную землю Новороссии, чтобы своими жизнями добыть для людей Донбасса свободу и справедливость! Но среди нас завёлся гад, сучье отродье, который потерял человеческий облик и использует святое оружие, чтобы грабить и насиловать. От него исходит яд, который отравляет святой колодец наших душ, оскверняет нашу праведную борьбу! Именем народа, памятью павших борцов, во исполнение священной справедливости — этому гаду смерть!

Курок выхватил из кобуры “стечкин”, поднёс к голове Жилы и выстрелил. Клюквенные брызги разлетелись во все стороны, и Жила молча грохнулся на землю.

— Убрать! — приказал Курок начальнику штаба. — Батальон, разойдись!

И пошёл, не оглядываясь, к передовой линии, по-журавлиному переставляя длинные ноги. Женщина убежала, колыхая распущенными волосами. Два ополченца оттащивали в сторону Жилу. Рябинин заметил, как в пыли блестит, мерцает камушком оброненное золотое колечко.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Стояла жара. Всё было залито слепящим светом. Рябинину казалось, что в этом солнечном свечении присутствует едва уловимая дымка, предвестница мглы. Он испытывал необъяснимую тоску, неизъяснимое одиночество, словно остался в этом мире один, без прошлого и без будущего, без привязанностей, без друга, без дома, без любимой и любящей женщины. Все его прежние побуждения, делающая жизнь увлекательной и неутомимой погоней, теперь исчахли. Он был пуст, из него изъяли память, сердце. Оставалась ноющая душа, которая предчувствовала конец всего. И этот слепящий солнечный свет таил в себе будущий мрак.

У соседней хаты ополченцы, голые по пояс, обливались водой, гоготали, смеялись. По улице, пыля, промчался грузовичок, на крыше которого был установлен пулемёт. Пулемётчик промелькнул мимо загорелым лицом. В саду среди яблонь, зарытый в землю, стоял танк — тот, что пригнал Танкист. Ополченцы, маскируя машину, набрасывали на броню срубленные ветки. За изгородью старуха в красном платье, с распухшими ногами тащила ведро. Было видно, как качаются под платьем её тяжёлые груди. В селе среди хат, в проулках и садах шла осторожная жизнь, готовая при первой опасности затаиться. На белом пшеничном поле темнел подбитый танк, и в нём разбухали на жаре чернокожие мертвецы.

Но все это не интересовало Рябинина. Над всем нависала мгла, и его тоска сама была мглой, в которой меркла его бессмысленная жизнь.

Он шёл по улице, чувствуя на боку нагретый солнцем автомат, обходил мелкие воронки от мин, похрустывал осколками битого стекла. Увидел палисадник, в котором пестрели цветы. И вид этих солнечных цветов привлёк его. Он потянулся к палисаднику и стал разглядывать золотые шары, розовые мальвы, фиолетовые и белые астры. Вдруг вспомнил семена марсианских цветов, которые посеял на Саур-Могиле. И явилась мысль, что часть этих семян долетела сюда и здесь расцвела.

Они были прекрасны и трогательны, эти малиновые мальвы, рыжие ноготки, сиреневые флоксы, клубящиеся пеной гортензии. Тихо гудели пчёлы, от цветка к цветку перелетал медлительный шмель, сладко припадала к лепесткам пестрая бабочка. Рябинин тянулся к цветам. В них было спасение от тоски, избавление от надвигавшейся мглы.

Он увидел, как мимо клумбы к крыльцу идёт женщина в голубом платье. Прозрачный шёлк таил в себе светящееся тело, которое колыхалось, словно огонь в стекле лампы. Это была та самая женщина, что взволновала его несколько дней назад, когда Артист играл свои танго, и Рябинин хотел пригласить её на танец, но истошный крик: “Танки!” — помешал ему сделать это.

Теперь она шла, опустив глаза, не замечая его. Он чувствовал, как с каждым её шагом тают драгоценные неповторимые мгновенья, унося её от него навсегда. Исчезает возможность какой-то иной, не проявленной, поманившей его жизни. Он оцепенел, видя, как она обходит клумбу, поднимается на крыльцо, чтобы исчезнуть в доме и больше не появиться. И чувствуя, как тают последние секунды, всё ещё помня, как бабочка перелетает с цветка на цветок, он окликнул женщину:

— Здравствуйте!

Она обернулась, удивлённо смотрела на него с крыльца. Глаза её шурились на солнце, и было неясно, какого они цвета — цвета мальвы, золотых шаров или голубых садовых колокольчиков. Между ней и Рябининым была пылающая клумба. Женщина ответила:

— Здравствуйте.

В её голосе среди женских певучих интонаций ему почудился дрогнувший звук, словно ручей ударился о маленький солнечный камень. Этот звук был едва уловим, но в нём притаились рыдания. Рябину показалось, что женщина хочет уйти. Стараясь удержать её на крыльце, он произнёс:

— Какие красивые цветы. Вы сами сажали?

— Сама. Ещё в прошлом году, — она спустилась с крыльца, и теперь их разделяли пышные малиновые мальвы.

— Это ваш дом? Вы родом из Петровки? — он заговаривал её, удерживал, не позволяя уйти.

— Я из Харькова. Приехала сюда работать. Я в библиотеке работаю.

— Здесь есть библиотека? Я и не знал.

— Её разбомбили. Почти все книги сторели. Что осталось, я принесла домой. Думала, может, люди захотят почитать, отвлечься. Но никто не приходит за книгами.

— Я пришёл. Хочу почитать. Что я могу почитать?

Женщина смотрела на него сквозь мальвы, на его автомат, на несвежую пятнистую форму, раздумывая над чем-то.

— Что ж, зайдите. Я покажу, что осталось от библиотеки. Вы единственный читатель, который пришёл за книгами.

Она отворила калитку, впустила его. Он шёл за её голубым платьем, видя, как колеблется её молодое гибкое тело. Бабочка перелетела с цветка на цветок.

Они вошли в сени, и она провела его в небольшую комнату, где, видимо, зимой хранились соленья, домашние припасы, а теперь на полу высились стопки книг. Некоторые были порваны, обгорели. Другие уцелели, но были зачитаны до дыр, с потрёпанными корешками.

— Выбирайте, — она повела рукой.

Он вдруг подумал, что в этой сельской библиотеке, если бы её не сожгли, могла оказаться и его книга, которую он напишет. Бомба, что разрушила библиотеку, целила в его книгу, чтобы она никогда не появилась на свет. Женщина, спасая обгорелые томики, спасала и его будущую книгу. Эта ещё не написанная книга хранится здесь, в маленьком, никому не ведомом доме.

Рябинин просматривал книги, перелистывал Толстого, Лермонтова, Чехова. Страхивал пепел с Валентина Катаева, с мемуаров Рокоссовского. Трогал спёкшиеся от огня страницы, читал уцелевшие строки. Ему показалось, он стоит на краю воронки, вокруг которой разбросаны книги, как были разбросаны после взрыва изувеченные тела ополченцев бригады "Марс". И женщина в голубом платье, и он сам чудом уцелели от взрыва.

— Я выбрал вот это, — он показал ей потёртый томик Пушкина с профилем поэта на обложке, напоминавшим пушкинские рисунки на полях рукописей. — Не читал Пушкина со школьной скамьи.

— Пушкина брали школьники и молодые мамы, чтобы читать детям сказки.

Они молчали. Он не знал, что сказать. Казалось, все слова исчерпаны, и нужно уходить.

— Хотите, угощу вас яблоками? — спросила она.

— Конечно! — просиял он, чувствуя, как остановившееся время радостно хлынуло вперёд.

Они вернулись в сени, и она впустила его в горницу. Комната была солнечной, с белыми занавесками на окнах. Белела печь. На высокой кровати пестрело покрывало, высились подушки, одна другой меньше. На столе в вазочке стояли сорванные в саду колокольчики. В плетёной корзине на стуле сияли глянцевиные, румяные яблоки. Комната была наполнена тёплым благоуханием, светлой и чистой женственностью. У Рябина сладко дрогнуло

сердце, и он не решался шагнуть в этот свет, сплутнуть эту женственность видом своего потёртого автомата, стоптанных бот, несвежей одежды.

— Ну, что же вы, проходите!

Рябинин поставил автомат у порога, стянул боты и в носках прошёл к столу, сел, глядя, как женщина берёт из корзины яблоко.

— Меня зовут Николай. А вас?

— Меня Валя.

Рябинин беззвучно повторил её имя. Оно было округлым, тёплым и будто пахло яблоками.

— Вот, возьмите, — она протянула ему яблоко, красное с одной стороны и золотисто-белое с другой. — Когда из пушек бьют, яблоки падают. Вчера очень много падало.

Он ел яблоко, вкушая его медовую мякоть, а она сидела напротив, чуть улыбалась, словно ждала, когда подействует на него пьянящая сладость.

Теперь он видел, что глаза у неё серые, тёплые, с притихшим в них ожиданием, словно она чего-то терпеливо ждала, быть может, с самого детства, а оно всё не шло, не являлось. Волосы у неё были золотистые, выгоревшие на солнце до белизны, и у маленьких розовых ушей свивались в трогательные детские локоны. На узкой переносице виднелись веснушки, которые появились, вероятно, когда она ухаживала за солнечной клумбой. Губы улыбались, но улыбка была несмелая, готовая исчезнуть. И тогда уголки рта опустятся вниз, и в голосе дрогнет рыдающий звук. В вырезе голубого платья виднелась загорелая шея, но ниже, где начиналась ложбинка груди, кожа была белая. И, глядя на эту незагорелую ложбинку, Рябинин испытал к этой женщине нежность, трогательное волнение, от которого стало влажно глазам.

— А вы откуда? Вы кто? — спросила она.

— Я из Москвы, писатель, — ответил он и смутился.

— Писатель? — брови её изумленно взлетели. — Может быть, в библиотеке есть ваша книга?

— Нет такой книги. Ещё не написана.

— Зачем же вы здесь? — она повела глазами к порогу, где прислонился к стене автомат. — Я думала, писатели сидят за столом и пишут, а вы на войне.

— Хочу написать об этой войне.

— Я думаю, когда весь этот ужас закончится, люди захотят читать книги о любви, о природе, о семейном счастье. Они захотят поскорее забыть о войне. — В её голосе вновь прозвучал рыдающий звук, словно ручей тихо плеснул в блестящий на солнце камень.

Рябинину вдруг захотелось открыться ей, рассказать о своих мечтаниях, глядя в её тихие серые глаза, чувствуя на губах душистый вкус её имени.

— В моей книге я напишу о героях, о мучениках, которые оставили свои дома, своих жён и детей и пошли воевать по зову совести. Они погибают, совершают подвиги, умирают в застенках. О них не должны забыть. Они не могут исчезнуть из людской памяти. Я напишу о них, чтобы они не были забыты.

Она смотрела на него изумлённо. Её губы вздрагивали, словно она повторяла его слова, чтобы лучше запомнить. Он испытывал к ней доверие. Своими изумлёнными бровями, вздрагивающими губами, трогательными веснушками она побуждала его говорить. Он смотрел на неё, как смотрят в зеркало, чтобы увидеть своё отражение.

— Пригласите меня на танец, — тихо сказала она.

Поднялась и встала перед ним. Поднимаясь навстречу, он видел прозрачные складки шёлка у неё на груди, обнажённую по локоть руку, золотистую от загара. И начинала звучать тихая упоительная музыка, сотканная из бледного солнца, стоящих в вазе цветов, запаха яблок и его нежности, которая пела в нём. Он обнял её за талию, чувствуя, как гибко напряглась её спина. Сжал её пальцы, которые слабо ответили на его пожатие. И они закружились по комнате в медленном, как во сне, танце. Он видел проплывающую мимо корзину с яблоками, томик Пушкина на столе, садовые колокольчики в вазе, автомат у порога, и снова яблоки, потрёпанный томик, садовые

колокольчики. И у окна с занавеской, попадая в пятно бледного солнца, он испытал бесшумное головокружение, словно колыхнулась волна света, и женщина, которую он обнимал, стала вдруг драгоценной и ненаглядной. Он любил её близкий локон, маленькое ухо, сгиб руки с крохотной голубой жилкой, вырез платья с хрупкой ключицей.

— Какое счастье, что я вас увидел! — прошептал он чуть слышно. Она отстранилась, прекращая круженье. Обняла его и поцеловала жарко, сильно, делая больно его губам. И он с закрытыми глазами целовал ее шею, ключицу, запястье, жилку на сгибе руки. И потом, когда её платье, полыхнув синевой, упало на пол, целовал её груди, живот, колени, узкие щиколотки. Сквозь закрытые веки он видел её обожаемое лицо.

Они лежали, чуть касаясь друг друга. Он видел, что глаза её закрыты, ресницы вздрагивают, а губы улыбаются, словно она хочет сказать что-то чудесное, трогательное, но не решается.

— Откуда ты взялся, родной? — сказала она. — Утром я поливала цветы, смотрела на колокольчик и подумала; “Это Коля, колокольчик”. А оказывается, это ты, мой цветочек.

— Утром у меня была такая тоска, словно мне уже не жить. Словно предчувствовал смерть свою. И с этой тоской я пошёл по селу, увидел тебя, и случилось чудо. Вот люблюсь тобой, целую твою руку, и так будет теперь всегда.

— Но мы же совсем не знаем друг друга. Я о тебе — хоть что-то, а ты обо мне — ничего.

— Знаю, что ты спасала мою книгу, выхватывала из огня. Теперь я её напишу. И в ней будешь ты, твоё васильковое платье, наш танец и чудесные ароматные яблоки. Может, я попал на эту войну для того, чтобы встретить тебя?

— Ты должен знать обо мне. Я окончила в Харькове библиотечный институт, готовилась в аспирантуре. На последнем курсе я влюбилась в преподавателя. Он был красивый, яркий, все студентки его обожали. Он читал нам русскую литературу, и мне он казался Печориным — загадочным, храбрым и одиноким. У нас была близость. На выпускном балу он сказал, что должен ненадолго уехать в Киев, а когда вернётся, мы поженимся. Он уехал и не вернулся. Говорили, что переселился в Америку или в Канаду. Я была оскорблена, хотела чуть ли ни в омут. Отказалась от аспирантуры и приехала сюда, в глушь, в Петровку. Работала в библиотеке, понемногу забывала прошлое. Чувствовала, что нужна этим людям. Подбирала им книги, проводила читательские конференции, помогала ученикам. Думала, здесь, среди зачитанных книжек, бесед с многомудрыми стариками и шаловливыми ребятишками так и пройдёт моя жизнь. Книги, цветы, заботы... А тут случилась эта беда, это горе. Бомбы, снаряды, страх и жестокость. Одни мои читатели похватали домашний скарб и уехали куда глаза глядят. Другие были убиты, и их хоронили прямо в садах, потому что кладбище было в руках украинцев. Третьи забились в подвалы, и им стало не до книг. А потом прилетел самолёт и сбросил бомбу на библиотеку. Я никуда не уехала. Осталась тут. Знаю, что меня убьют. И тебя убьют. И всех нас убьют.

В её голосе задрожали рыдания. Рябинин целовал её близкое плечо.

— Мы выиграем эту войну. Нам на помощь очень скоро придёт Россия. Она видит, как обливается кровью Новороссия. Она не бросит русских братьев в беде. Сюда придут отборные русские части — десантники, спецназ, танки и артиллерия. Мы начнём наступление, выйдем противника из Мариуполя, Одессы, Харькова. Когда победим, вернусь за тобой в Петровку и уверю. Мы станем путешествовать. Поверь мне, всё так и будет.

— Это правда? Всё так и будет? — в её голосе было печальное недоверие и тайная надежда. И подхватывая эту надежду, как ветер подхватывает на склоне горы дельтаплан и несёт в восходящих потоках, Рябинин стал говорить восхищённо, страстно обнимая Валю. Он уносил её прочь от этих разгромленных хат, измятого танками поля, от минных осколков, похожих на уродливые, с железными лепестками цветы.

Они проносились над морем, над его бирюзой, рыбаки, стоя в лодках, доставали из сетей огромных серебряных рыб, и те сверкали, как солнечные зеркала. Они летели над синей протокой с фиолетовыми гранитными лбами, и два оленя переплывали реку, задирая вверх чуткие головы с сиреневыми глазами. Они плыли по Неве мимо белых колоннад и дворцов, и золотое отраженье Адмиралтейской иглы дробилось и ломалось, когда его пересекала сахарная льдина, а на льдине на одной ноге стояла желтоклювая чайка. Он целовал её у ночных каналов с отражением маслянистых фонарей. Пахнул ветер, побежал по каналу, и отражения превратились в крутящиеся золотые веретёнца. Они поднимались на солнечную жаркую гору, которая казалась фиолетовой от созревшей земляники, и она протянула ему горсть спелых ягод, и он хватал губами ягоды и целовал её ладонь, чувствуя пьянящую сладость. Они любовались белыми волжскими городами, краше которых нет на земле, и в старом соборе, среди свечей и лампад, огромный коричневый Спас смотрел на них тёмными, как ночное небо, глазами, и она, робея, о чем-то моля, приблизила к образу свои побледневшие губы. Ночная изба с жаркой печью, язычки света бегут по венцам, и он рассказывает детям какую-то бесконечную сказку, а жена прижала к себе детские головы. С детьми они выходят в лунную ночь, идут к замёрзшему озеру, и она сквозь ломтик прозрачного льда смотрит на голубую луну, и маленькая дочь, запрокинув лицо, охваченная луной, спрашивает: “А на луне водятся люди”?

Рябинин рассказывал ей всё это, или ему только казалось, что он рассказывает... Видения, которые его посещали, были из чьей-то иной, ему не принадлежавшей жизни. Словно кто-то, родной, но неведомый напоминал о себе, дарил своё исчезнувшее счастье.

— Ты взял томик Пушкина. Там есть стихотворение про цветок, забытый в книге: “Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...” Я найду этот стих и положу между страниц цветов колокольчика. Пусть он там останется на долгие годы. И когда-нибудь, в старости, мы откроем эту страницу, найдём засохший цветок и вспомним нашу первую встречу.

Она соскользнула с кровати, прошла к столу, где стояла ваза с цветами. Вынула синий цветок колокольчика и, полистав томик, спрятала его меж страниц. И он с умилением и нежностью смотрел на неё.

Ночью они несколько раз просыпались, и их пробуждения были жаркими, бурными, и их любовь друг к другу была неутолимой.

На рассвете он ушёл, прихватив автомат и забыв на столе томик Пушкина с цветком колокольчика. Она провожала его до калитки, сказала на прощанье: “Буду ждать тебя вечером, Коля”.

Счастливый и лёгкий, он шёл по селу прямо на малиновую зарю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На позиции он сменил Лавра, который, зевая, кивнул на батальонное знамя, установленное у мешков с землёй:

— Курок хочет устроить парад батальона. Для поднятия духа. А чего его поднимать? Выше некуда, — и пошёл, положив автомат на плечо, как лопату.

Одни ополченцы сменяли других. Рябинин видел Ромашку, Завитуху, Артиста, которые рассаживались перед траншеей, на зарядных ящиках лицом к заре и смотрели на неё, как смотрят птицы перед восходом солнца.

Вдруг он услышал режущий, секущий свист. Чёрный взрыв расщепил соседнюю хату, метнул ввысь ошметки. Горячий воздух толкнул Рябинина в грудь, залепил пробками уши. Ещё один взрыв рванул огнём среди улицы, просвистел осколками, и взрывная волна докатила до Рябинина свой пыльный жар. Взрывы впились в село, вонзались в сады и хаты, вспарывали, перетряхивали их, как лежалое одеяло. Свистели осколки. Металлический свист нёсся среди чёрного дыма, срезанных яблонь, горящих домов.

Рябинин, оглушённый, прыгнул в траншею. Он видел, как ополченцы бегут из домов на позицию, пригибаясь, словно над ними свистит лезвие.

Завитуха юлой повернулся в прыжке и спрыгнул в окоп. Артист сполз в траншею, утягивая за собой трубу гранатомёта. Лавр, не успев добраться до хаты, семенял обратно, оглядываясь, вжимая голову в плечи.

Появился Курок. Выпучив глаза, кричал в рацию. Он был без шапки, лысый, с рыжей метлой бороды.

Рябинин сжался в окопе. Чудище вновь появилось и разыскивало его среди дыма и пламени. Взрывы шли валом от пшеничного поля, занавешивая малиновую зарю серой мутью. Перекатывались через окоп, сотрясая грунт, и Рябинин видел, как рядом отломился от стенки окопа кусок земли и засыпал проход.

Взрывы катились в село, отыскивая Рябинина среди хат. Уходили в далёкий дуг, надеясь найти его среди травяных оврагов, и возвращались обратно. Свистело, хрустело, чавкало, словно огромные зубы чудовища изгрызали село. Дёргались его красные глазницы — чудовище среди поломанных яблонь и горящих домов выискивало Рябинина.

Он лежал на дне окопа, вдавливая лицо в землю. Видел близко, прямо перед глазами стреляную автоматную гильзу, хребтом чувствовал свистящие над окопом осколки, затылком ждал, когда удар упадёт сверху, смешивая с землёй его кровь. Страх его был лишён мысли и скорее был похож на непрерывный бессловесный крик. И вдруг, среди ужаса и безумия, слыша, как перекатываются по селу убийственные удары, он подумал о Валентине. Удары чудовища были нацелены на цветущую клумбу, на корзину яблок, стоящую в горнице на стуле, на томик Пушкина с цветком колокольчика, лежащий на столе. На нежную белизну в вырезе её платья, на солнечные локоны над маленьким ушком и на тот незащитный рыдающий звук в её голосе, которым она умоляла пощадить её. Это он, Рябинин, побывал в её доме и навёл несчастье. Теперь чудовище ищет в её доме Рябинина, харкая огнём и металлом.

Он испытал страстный порыв бежать к ней, выхватить её из чёрного взрыва, накрыть собой, унести на руках прочь из села, в овраги, в холмы, куда не достанут взрывы. Он стал карабкаться из траншеи, но резкий, как клёкот, голос комбата остановил его:

— Танки! Бить с прицельной дистанции! — стибаясь в окопе, прижимая к бороде рацию, комбат вызывал артдивизион, расположенный на соседнем участке:

— Гром, я — Курок! Меня атакуют танки! Поддержи огнём, Гром! — следом, переключая волну, он связывался с батальонной артиллерией, состоящей из двух трофейных пушек. — Пушкарь, мать твою! Спишь? Выдвигайся на прямую наводку!

Рябинин занял место в стрелковой ячейке и смотрел, как в пшеничном поле вздымаются и оседают взрывы. Сквозь косую завесу пыли мутно краснела заря, чернел одинокий, подбитый Жилой танк, и к нему приближались другие танки. Они выделялись тёмными брусками, шли широким фронтом. За ними с интервалами катили БТРы. Взрывы далёкой, укрытой в холмах артиллерии создавали завесу, за которой приближались машины.

Рябинин лбом, переносицей, испуганным пылающим мозгом чувствовал приближение упорной жестокой мощи. Эта мощь шла на зыбкую цепь ополченцев. Издалека, не стреляя, уже вдавливала в село свою броню, накатывала волну неодолимого истребления, от которого цепенела воля и бессильно немели руки.

Рябинин увидел, как по улице, толкаемая ополченцами, подкатила пушка. И вторая, мелькнув в проулке, исчезла среди дыма на левом фланге.

Внезапно взрывы смолкли. Пыль оседала. Рябинин, оглушённый, чувствуя, как попавшая за ворот земля колет спину, оглядывал траншею. Артист, прижимаясь к брустверу, выставил гранатомёт. Лавр прильнул к пулемёту, и в ленте тускло желтели патроны. Завитуха, и впрямь похожий на упругий завиток, сжался, уложив рядом с собой сразу два автомата. По траншее пробежал начштаба и что-то докладывал комбату. Тот поправлял знамя, потревоженное взрывной волной.

“Как она там? Надо к ней! Живи, живи, моя милая!” — Рябинин смотрел на село, беззвучно повторяя её имя, но теперь оно пахло не яблоками, а гарью.

Из танковых пушек полыхнуло. Взрывы ударили в окраину села, словно кто-то огромными горстями черпал землю и швырял её на крыши, рушил в траншею. За спиной Рябинина лязгнула пушка. Она была вдоль улицы прямой наводкой. Ей вторила другая, скрытая в садах. Врытый в землю трофейный танк грохал, посылая снаряды над головой ополченцев. И уже летели из окопа кудрявые трассы гранаты, стучали пулемёты.

Несколько танков на пшеничном поле горело. Один, охваченный пламенем, крутился на месте. Другой дымил, дёргался, но не двигался с места.

Рябинин услышал, как сади на улице лязгнуло, потом треснуло. Колесо пушки, оторванное взрывом, падало с неба. Орудие завалилось, на земле, головами в разные стороны, лежали артиллеристы.

— Гром, дайте огня! Они прорываются! — орал комбат и грозил кулаком, в котором был зажат пистолет.

Рябинин видел, как головной танк надвинулся на окоп, навис гусеницами, обваливая в траншею оползень. Завитуха кинул ему вслед какой-то чёрный комок, быть может, гранату. Но танк, невредимый, пошёл вглубь села, ломая яблони. Ещё один танк двигался вдоль окопа, поливая из пулемёта. Ополченец, поднявшись с гранатомётом в руках, рухнул, напорвшись на очередь.

Из путаницы кустов, задев и разрушив край дома, выкатил трофейный танк с красным флажком на башне. Голова Танкиста, без шлема, с беззвучно кричащим ртом, виднелась в люке. Танк шёл наперерез прорвавшейся машине, разогнался и с лязгом ударил в борт, стал карабкаться, заскрежетал гусеницами, словно драл когтями, перегрызал железное горло. Взрыв кольнул обе машины, и они распались, охваченные голубоватым пламенем.

Танки двигались по селу, рушили дома. Долбили пулемёты и рывкали пушки. Село шевелилось, бутрилось, превращалось в горы мусора, из которых появлялись лязгающие машины, неся на горбах крыши домов и расщеплённые яблони.

С БТРов выгружалась пехота. Солдаты в касках, густой цепью шли на окоп. Рябинин бил из автомата, увидел, как от его попадания солдат схватился за плечо и стал оседать. Перевёл ствол на соседнего, но очередь хлестнула по брустверу, и он сполз в окоп. Сползая, видел, как над холмами появился край солнца.

Солдаты прыгивали в траншею, схватывались с ополченцами в рукопашной.

Лавр орудовал штык-ножом. Поднырнул под грохочущий автомат, пырнул пехотинца, и тот стал валиться с раскрытым от боли ртом, погружая очередь в Лавра, и оба они в обнимку рухнули на дно окопа.

Ромашка, расстреляв магазин, бил прикладом солдата, и тот с разбитым лицом отступал, заслонялся. Другой пехотинец вогнал очередь в спину Ромашки, и тот с изумлением пытался оглянуться и падал, обнимая ноги избитого им солдата.

Завитуха вертелся в окопе. Крутил ручным пулемётом, бил от живота, насаживая на огненную спицу прыгающих пехотинцев. И один, умирая, кинул в окоп гранату, оторвавшую Завитухе руку.

Рябинин, оглушённый взрывом, слышал, как комбат хрипит в рацию:

— Гром, я Курок! Они прорвались! Вызываю огонь на себя! Гром! Гром! Вызываю огонь на себя! — комбат среди пуль и взрывов подобрался к знамени, старался выдернуть древко из мешков с землей. Рябинин видел, как подходят БТРы, из люков сыплются новые пехотинцы. Комбату всё никак не удавалось выдрать древко из осевших мешков. Красное солнце вставало над холмами. И внезапная, как мучительный порыв, предсмертная тоска, желанье сохранить в зрачках эти последние видения — солнце, подбитые в пшенице танки, изумлённое, уже не живое лицо Ромашки — всколыхнулась в нём.

Рябинин содранными в кровь пальцами извлёк из кармана мобильный телефон, набрал домашний московский номер и услышал голос матери:

— Коля, сынок, ты где?

— Я в Новороссии. Меня убивают, мама! Прощай!

Тяжкий взрыв прилетевшего снаряда сотряс грунт, и Рябинин выронил телефон. Ещё один взрыв харкнул огнём и обсыпал его землёй. Это артдивизион откликнулся на призыв комбата и вёл теперь огонь по селу.

Комбат освободил, наконец, древко знамени, колыхнул красным бархатом. Выхватил пистолет. Слепо взглянул на окоп:

— Мужики, вперёд! За нашу советскую Родину! — и пошёл, страшный, с лысым черепом, выпученными голубыми глазами, с рыжей косой бородой. В одной руке у него был пистолет, в другой — знамя. Полотнище тяжело колыхалось, и вслед за комбатом из окопа вылезали уцелевшие ополченцы. Шли, блестя штык-ножами, Артист с безумной улыбкой, начштаба, сжимая в кулаке пистолет, Артиллерист, хромая, несёт перед собой не стреляющий автомат.

Рябинин вылез из окопа и торопился за всеми, боясь отстать от знамени. Он шёл без единой мысли, желая одного — не отстать от своих. Близкий взрыв колыхнул землю, приподнял его и унёс туда, где вставало солнце.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Рябинин очнулся. Было темно, только ярко светилась узкая щель. Эта солнечная щель отражалась длинной полосой на шершавой стене. Он лежал на бетонном полу, среди бетонных стен, под бетонным потолком. Голова гудела. Он ощущал её и обнаружил, что из уха сочится кровь, застывая на шее сухой коростой. Вспомнил, как шёл за красным знаменем, обредая воронку. Вспомнил лицо комбата с немо орущим ртом, БТР, из которого выпрыгивали солдаты в касках, чёрный ком взрыва, приподнявший его и швырнувший навстречу солнцу.

Теперь солнце било в узкую щель бетонного каземата. Он ощущал карманы — ни телефона, ни фонаря, ни документов.

— Очухался? — услышал он близкий голос, — Значит, жить будешь, пока не расстреляют. — Это был голос Артиста, который лежал рядом на полу. Его узкое лицо, окаймлённое курчавой бородкой, проступало в сумраке. Длинные волосы, обычно собранные под косынкой, теперь, когда косынка исчезла, рассыпались по плечам, но вокруг шеи по-прежнему был повязан розовый шарф, и в кармане камуфлированной рубахи виднелся край розового платочка. — А мы думали, что тебе хана.

Артист посмотрел туда, где лежал второй человек. Им оказался комбат Курок. Его лысый череп с рыжей бородой в сумерках казался валуном, опутанным жёлтой тиной.

— Ты бы лучше, Артист, ещё раз разведал. Можем мы отсюда выбраться? — произнёс Курок, и Рябинин услышал, с каким трудом дались ему эти слова.

— Нет, комбат. Отсюда не выйти. Разве что мухами стать и в щель вылететь... А так невозможно.

Снаружи сквозь прорезь в стене раздавались неясные звуки: голоса, стук металла, глухой рокот и лязг прокатившего танка. Кто-то прошёл совсем близко и раздражённо крикнул:

— А ты пошукай, побачь!

Рябинин, тоскуя, с безвучным стоном понял, что он в плену. Всех троих, оглушённых взрывом, захватили украинцы и поместили в этот бетонный каземат.

— Нет, Артист, мухами мы не станем, — сказал Курок, — а умрём, как люди. В одном ты прав: расстреляют и исповедоваться не дадут.

— А зачем тебе исповедоваться, комбат? Ты же коммунист. А коммунисты Бога не признают. Это белые в Бога верят, а красные все безбожники.

— Какие красные, какие белые? Все, кто на Донбассе воюет, все русские люди. И у всех один Бог — справедливость. Мы теперь каждый — и красный, и белый, и у нас один Бог.

— Что ж ты раньше мне не сказал, комбат? А то я всё сомневался. Кто я? Красный или белый? Или просто бабник и забулдыга, который по ресторонам на аккордеоне играет и деньгу сшибает, — едко засмеялся Артист.

Но Курок не заметил насмешки. Мысль, которую он только что высказал, была для него не случайна, она родилась не сию минуту, а сопутствовала ему среди военных забот, танковых атак и обстрелов.

— Вот ты посмотри, я родом из Омска, сибирский человек. У меня есть великий земляк — генерал Карбышев, Дмитрий Михайлович. Он из дворян, служил в царской армии, был офицером, воевал под Мукденном, получал награды. По всем признакам — белый. Но во время гражданской он перешёл на сторону красных, дослужился до генеральского звания, строил Брестскую крепость. Значит, красный. Контуженным попал в плен к фашистам. Совсем, как мы. Если бы нас не контузило, не взяли бы нас в плен никогда. Карбышева понуждали к измене, пытали, мучили. И нас будут мучить, пытать. Но он не предал Родину и принял мученическую смерть, когда его на морозе облили ледяной водой. Значит, он не просто герой, но и мученик. А война-то, которая называлась Отечественной, она же называлась священной. Значит, война за святых. И Церковь победу в войне называет священной. Поэтому, я говорю, Карбышев мученик и святой, умер за святую. Вода, которой его поливали, превратилась из чёрной смертельной воды в святую воду. И Церковь когда-нибудь причислит Карбышева к лику святых. Значит, он не белый, не красный, а русский святой. Вот и мы — не красные и не белые, а просто русские люди, которые попали в беду. И нам предстоит вынести муку, но не потерять нашу честь. — Всё это Курок произнёс вдохновенно, лежа на бетонном полу, не в силах согнуть повреждённую ногу.

— Вряд ли, комбат, я святой. В Бога не верю, баб люблю, в карты играю. Похоже, я жизнь мою в карты проиграл и теперь выпадаю из колоды, как бубновый валет. И никто, комбат, не увидит, как нас с тобой на расстрел выведут. И люди о нас с тобой ничего не узнают.

— Узнают. Им Рябина расскажет. Его не убьют. Ему ещё долго жить. Он о нас с тобой людям расскажет. Расскажешь, Рябина?

— Не знаю, — сказал Рябинин. — У меня с вами одна доля.

Он осторожно поднялся, чувствуя, как ломит в затылке. Приблизился к длинному прогалу в стене, заглянул и увидел пустой солнечный двор, стену с блестящим рулоном колючей проволоки, двухэтажное строение с зарешёченными окнами, солдат, подхвативших с двух сторон огромную кастрюлю и несущих её через двор. На солнцепеке стояло одинокое кресло с резной спинкой и гнутыми ручками. Перед креслом на штативе была установлена телекамера, и оператор налаживал аппаратуру. Тут же находился человек в белом костюме, жгучий брюнет с блестящими волосами и чёрными, жгучими глазами, какие бывают у сладостных эстрадных певцов.

Одинокое кресло, вырванное из стильного интерьера и поставленное на тюремном дворе, вызвало у Рябинина мучительное сравнение с лодкой, утонувшей в песчаном бархане. Ему стало худо. Он отвернулся от кресла, от сладострастника в белом костюме, от телекамеры с чёрными глазком. Схватился за крестик у себя на груди. Вспомнил корзину яблок, томик Пушкина в женских руках и то, как по голой женской спине скользнул таинственный луч. Вспомнил, как в детстве отец и мать, молодые, счастливые, везли его на санках, и кругом был снежный восхитительный мир с морозным солнцем, слюдяными лесами трепещущей высоко в небе сорокой.

К брюнету подошли два солдата. Оба были без головных уборов, с расстёгнутыми воротами форменных рубах. У одного кисть руки была забинтована. Они о чём-то поговорили с брюнетом, указывая на кресло и телекамеру, а потом все трое направились к каземату, откуда наблюдал за ними Рябинин.

Лязгнул засов, хрустнули железные петли. Дверь растворилась, хлынул свет. В квадрате солнца на бетонном полу лежал комбат, слепо мигая после полумрака.

— Ты, что ли, Курок, или ты спусковой крючок? — хохотнул брюнет, глядя на распротёртого с вытянутой ногой комбата. — Вставай, поговорить надо!

Солдаты подхватили Курка под локти, с силой поставили на ноги. Курок охнул, стал оседать. Его потащили волоком. Рябинин видел, как скребут пол ноги комбата, и на одной ноге не было бутсы.

Комбата усадили в кресло и скотчем примотали запястья к ручкам. Комбат сидел на солнцепёке нахохленный, похожий на филина, ослепшего на свету.

— Здравия желаю, товарищ подполковник, — приветствовал его брюнет. — Здравствуйте, товарищ Курков Владислав Александрович. Приветствую вас от имени свободного вольнолюбивого украинского народа. Всё ли у вас хорошо?

Рябинин, припав к прогалу в стене, различал почти все слова. Видел сладостную улыбку брюнета, стеклянный блеск его волнистых чёрных волос.

Курок молчал, нагнув лысую голову, и смотрел на брюнета исподлобья потемневшими синими глазами.

— Мы изучили ваше личное дело. Вашу службу в Северо-Кавказском военном округе. Ваше участие в двух чеченских кампаниях. Ваши смелые боевые действия под Аргуном, где вы получили ранение, орден и были комиссованы из армии по состоянию здоровья. Знаем, что вас бросила жена, что вы начали, было, пить, но потом “завязали” и преподавали в детском военно-спортивном клубе. Как по зову сердца пошли воевать за Донбасс и храбро, беззаветно сражались за Советский Союз. И в последний бой шли под красным знаменем, как настоящий герой. Кстати, это знамя находится у нас в качестве трофея.

— Не вздумай лапать знамя грязными руками, — хмуро буркнул Курок. — А то, гнида, ответишь.

— Я офицер, и никогда не позволю себе глумиться над боевыми реликвиями. Наши с вами деды сражались под этим знаменем.

Оператор нацеливал телекамеру на Курка. Двое солдат отошли от кресла, чтобы не попасть в объектив. Брюнет в белоснежном костюме, с яркой ядовитой улыбкой и блестящими волосами был похож на актёра немого кино.

— Мы не намерены держать вас здесь слишком долго, Владислав Александрович. Но прежде чем мы выпустим вас на свободу, вы окажете нам небольшую услугу. Сейчас перед телекамерой вы подтвердите, что вы — кадровый офицер российской армии. Вместе с кадровым армейским подразделением вас перебросили в Донбасс, обеспечив танками, артиллерией, установками залпового огня и переносными зенитно-ракетными комплексами. Во время боевых действий вы пользовались данными российской военной разведки, в том числе и космической. Вы скажете всё это под запись — и свободны! Договорились, Владислав Александрович?

— Предателем Родины меня не сделаете, — ответил Курок.

— Ну, каким предателем? Какой Родины? России на вас наплевать. Втравила вас в авантюру, замарала кровью и отступила. Бросила вас на позор всему миру. Владислав Александрович, давайте сделаем запись, и вы на свободе. Получите от нас военную пенсию, похлопочем, чтобы вы приобрели симпатичный домик у моря. И будет у вас безбедная жизнь и спокойная старость. Будете, как говорится, залечивать старые раны.

— А пошёл бы ты! — крутанул Курок лысым черепом. — Россию не трожь! Россия сюда придёт, и всё ваше дерьмо разбежится! Ты костюмчик-то белый сними, а то будет видно, как ты обосрался! Прижми ухо к земле, урод. Послушай. Это Россия идёт!

— Кретин! Кацап вонючий! Где твоя Россия? Где твой президент? Они вас сдали. На хрен вы им? Они Крымом подавились, переварить не могут! Они вас выплонули, и ты не Курок, а Плевок, ты понял?

— Россия идёт, и ты дрожишь перед ней, как последняя погань!

Рябинин видел, как сияют синевой глаза комбата. Как выпрямился он в кресле, выкатил грудь, словно стоял в строю. Брюнет что-то сказал солдатам, и один побежал в соседнее здание, а второй, с забинтованной кистью, подошёл к комбату и ударил его в лицо. Удар опрокинул комбата вместе с креслом, ноги его беспомощно задёргались в воздухе. На той, где не было ботса, виднелся драный носок.

Солдат поднял с земли кресло, и комбат снова, ссутулясь, сидел в нём. Из носа текла кровь.

Солдат вернулся, держа в руке небольшую кастрюлю с ручкой. В другой руке он нёс пачку соли.

— Слушай, Курков, — брюнет наклонился к комбату. — Последний раз предлагаю. Сделаем запись, и катись ко всем чертям. Хочешь, в Киев. Хочешь, в Париж. А хочешь, в свою грёбаную Москву.

— Сюда Россия придёт, и мы тебя в клетке станем показывать, как ублюдка кровавого! — Комбат попытался плюнуть в него, но брюнет увернулся.

— А теперь мы из тебя станем блюдо готовить. Здесь, в кастрюльке, подсолнечное масло из лучших сортов подсолнечника. Мы его слегка вскипятим, и твою лысую башку, твою картошку, по-нашему, по-украински, бульбу, слегка помаслим.

Брюнет кивнул солдату. Тот подошёл к комбату и вылил ему на голову раскалённое масло. Комбат взревел, забился в кресле. Жёлтое масло стекало по черепу, текло по лицу, заливалось в бороду, и комбат, оскалась, ревел, тряс головой, выпучивая побелевшие глаза. Было видно, как набухают пузыри и лопаются на черепае кожа.

— А теперь мы бульбу посолим, чтобы вкус был, — брюнет зачерпнул из пакета горсть соли и высыпал на обожжённый череп комбата. Тот замер в беззвучном крике, обмяк в беспомощности. Голова его в масле, осыпанная солью, свалилась к плечу.

— Комбат! Держись! Я с тобою, комбат! — Артист кричал в щель, просовывая кулак. — Палач, отродье! Горло сломаю!

Брюнет обернулся на крик и что-то сказал солдатам.

Рябинину казалось, что это на его голове взбухают волдыри, это его плоть горит от нестерпимой боли, и он вот-вот потеряет сознание, как комбат. Но кто-то грозный приказывал ему: “Смотри!” И он повинился этому беспощадному приказу.

Брюнет достал телефон и кому-то приказал:

— Подгоняй танк. Сделаем из картошки пюре! И тряпку, тряпку красную захвати, чтобы с воинскими почестями! — И повернулся к каземату. — Это кто там хотел сломать мне горло? Кто там кричал: “Комбат, я с тобой?” Давайте его тоже под танк!

Солдаты вошли в каземат. Набросились на Артиста. Стали валить, крутить, заламывали за спину руки, стягивали скотчем, мотали ленту вокруг ног. Вытащили наружу и кинули посреди двора. Артист извивался, матерился. Его розовый шарф развязался, кокетливый платочек выпал из кармана и цветастым лоскутком розовел на земле.

“Стой и смотри!” — Рябинин слышал это грозное повеление, оставшись в каземате. Дверь оставалась раскрытой, и в конусе света на полу валялась ботса комбата.

Курка отделили от кресла. Скрутили бессильные руки скотчем. Уложили на землю рядом с Артистом.

— Ну, чего ты смотришь? Снимай! — прикрикнул брюнет оператору. — Такое кино нигде не снимешь!

Оператор переставлял камеру, нацеливал на лежащих. Связанный Артист извивался. Комбат был недвижим, только вздрагивали ноги с единственным башмаком, и сквозь продранный носок виднелся палец.

Появился человек в джинсах и футболке. Ткань футболки облегла лютую грудь, круглились бицепсы, выступал вперёд боксёрский подбородок. Человек держал под мышкой красный рулон. Брюнет принял рулон, развернул. Батальонное знамя из малинового бархата, с жёлтым профилем Ленина и вышитой надписью “За нашу советскую Родину!” колыхалось в руках брюнета.

Рябинин помнил, как малиновое полотнище реяло над головой комбата, когда тот в последнем порыве ринулся навстречу пехоте, и несколько уцелевших в бою ополченцев, и с ними Рябинин, устремились за знаменем. Теперь знамя было без древка, с оборванным краем.

— Как говорится, со всеми воинскими почестями, — брюнет подошёл к комбату и широким взмахом, как стелют скатерть на стол, накрыл Курка знаменем. Тело комбата бугрилось под знаменем, торчали ноги с одиноким башмаком, из продранного носка белел палец.

— Давай, запускай! — приказал по телефону брюнет. Раздался рокот танкового двигателя.

Рябинин в ужасе понял, что сейчас случится. Он не хотел смотреть. Он хотел забиться в бетонный угол, но кто-то незримый, величественный, заполнявший Собой всё пространство от земли до солнца, беспощадно приказывал: “Стой и смотри!”

Рокот приближался, послышался лязг гусениц. Артист перестал извиваться, лёг лицом к небу и запел: “Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю. В моём письме упрёка нет, я вас по-прежнему люблю!” Он пропел “портрёт”, как, должно быть, пел в одесском ресторане, грассируя, с выпуклым “э”.

Рябинин увидел в проёме распахнутой двери, как появился танк, — башня, пушка, близкие масляные катки, провисшие гусеницы. Танк остановился. Чуть изменил направление. Нацелился на красное полотнище. Двинулся на лежащих, с хрустом и лязгом кромсая их гусеницами. Рябинин видел, как мелко задрожали ноги комбата, как разорвали скотч и раздвинулись ступни Артиста. Танк прокатил, оставляя липкое страшное месиво бархата, крови, костей.

Рябинин лёг на бетонный пол и беззвучно заплакал.

Он лежал час или два, без движений и мыслей. Больше не было жестокого приказа: “Стой и смотри!” Невидимый повелитель добился своего. У Рябинина не оставалось души, памяти, мыслей — всё слиплось в красное мокрое пятно, сквозь которое не виден был мир.

Он услышал негромкий стук автомобильного двигателя, крики, команды. Дверь в каземат открылась, и кто-то крикнул:

— На выход!

Рябинин поднялся, вышел. Посреди двора стоял автобус с решётками на окнах, дорогой джип и небольшой грузовик. Солдаты выводили из тюремного здания людей, загоняли в автобус. Туда же, к автобусу, погнался автоматчик и Рябинина. Пересекая двор, Рябинин увидел свежий песок, которым присыпали место недавней казни. В стороне розовел оброненный Артистом платочек.

— Шевелись, ополчение! — брюнет в белом костюме понукал людей, которых автоматчики загоняли в автобус. Рябинин сел на продавленное сиденье рядом с пожилым, очень худым человеком, чьи глазницы провалились, как у старой лошади. В них мерцали печальные покорные глаза.

— Кто вы такие? — спросил Рябинин соседа.

— Раньше были люди, — ответил тот и показал костлявые руки, перетянутые на запястьях скотчем. Вокруг Рябинина были измождённые небритые лица, порванные пятнистые куртки. На лицах виднелись синяки и запекшаяся кровь.

— Отмучились, мужики. Приятно было познакомиться, — пытался бодриться скуластый крепьш с большим синяком под глазом. Но ему никто не ответил.

Джип с брюнетом тронулся. За ним покатил автобус. Следом двигался грузовик с автоматчиками.

Проехали какой-то город, небольшой, замусоренный, с памятником солдату-освободителю, уцелевшим с советских времён. Кое-где попадались жители, которые устало и равнодушно провожали джип, грузовик и автобус. Рябинин с тоской подумал, что ни одна живая, страдающая душа не kinetic вслед ему прощального любящего взгляда. Сосед касался его плечом, плечо вздрагивало на ухабах. И Рябинин вспомнил, как совсем недавно он ехал

в грузовике через границу, рядом сидел осетин Мераб, и его плечо тогда вздрагивало на ухабах.

Выкатили за город. Дорога сначала вела мимо бараков и обмотанных рваной фольгой трубопроводов, а потом заструилась среди зелёных холмов с проступавшей сквозь зелень известковой породой.

Открылся песчаный карьер — огромная жёлтая ямина, на дне которой темнели какие-то поломанные механизмы.

Автобус остановился у края карьера. Узников высадили из автобуса. Рябинин заметил, что руки у всех стиснуты скотчем. И только у него одного руки оставались свободными.

— Давай, становись! — брюнет подталкивал пленников к откосу, и те испуганно теснились. Боялись оступиться и рухнуть в провал. Автоматчики встали цепью и навели стволы.

— Вы прибыли в Украину по путёвке Кремля, — чёрные глаза брюнета засверкали, и он стал похож на сладострастного кумира эстрады. — Вы привезли с собой пули для наших стариков, жён и детей. Мы отняли у вас ваши автоматы и пули. Но по одной для каждого из вас оставили. Теперь вы их получите. Цельсь! — брюнет отступил, и стволы автоматов тускло блеснули.

Рябинин почувствовал, как непрерывное время рассыпалось на множество мелких частиц, и каждая пролетала отдельно. Он проживал свои последние секунды. Огромный, вырезанный из мира брусок отделился и двинулся на него с чудовищным рёвом и скоростью. И, видя, как приближается этот жуткий стремительный слиток, Рябинин качнулся и стал падать. Нацеленный на него ствол распушил жёлтые лепестки. Из них излетела пуля, двинулась к нему, заострённая, окружённая бледным пламенем, буравила воздух, оставляя светящуюся дорожку. Прошла у самого виска и исчезла. А он продолжал паденье в карьер, слыша грохот автоматов, видя, как сверху, догоняя его, валятся люди.

Орудая руками, цепляясь за склон, отталкиваясь от каменных уступов, он ухнул на дно карьера. Теряя от удара сознание, успел увидеть падающих, как кули, убитых людей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Он очнулся, и ослепительная мысль, что он жив, дышит, видит у глаз блестящие песчинки, поразила его. Он порывался вскочить, но смертельный страх удержал его на песке. Те, кто хотел убить его, были рядом, наблюдали за ним, ждали, что он шевельнется. И тогда множество пуль вонзятся в него и погасят эти блестящие на солнце песчинки.

Он не двигался, притворяясь мёртвым, как притворяется жук перед клювом зоркой птицы.

Было тихо. Саднили содранные ладони, но не было боли ни в спине, ни в руках, ни в ногах. Желая убедиться, что нет переломов, он, не шевелясь, сжимал и распускал мышцы. Боли не было. Не было переломов.

Осторожно, чуть повернув голову, он скосил глаза. Рядом лежал человек, кисти его рук, склеенные на запястьях, напоминали уродливые, растворённые клешни.

Рябинин вспомнил ствол автомата, жёлтые лепестки пламени, пустую сердцевину цветка, из которого вырвалась пуля. Она медленно приближалась, и он мог рассмотреть кромку на латунной оболочке, раскалённый пузырек воздуха на острие, расходящийся конусом светящийся след, который пуля оставляла в пространстве. Рябинин помнил, как Кто-то чуть слышно толкнул его, позволяя пуле пролететь мимо. И этот Кто-то был тем же невидимым повелителем, кто заставлял его смотреть неотрывно на казнь комбата.

Рябинин пролежал без движения час или два, пока не услышал высокое скрипучее карканье ворона, прилетевшего к месту казни. Тогда он вскочил и помчался. Он убежал от груды недвижимых тел, от отвесной стены карьера, мимо испорченных механизмов, оборванной ленты транспортёра.

Не было выстрелов, не было погони.

Он выбирался с карьера по разбитой дороге с обрывками железных тросов, между брошенных автомобильных покрышек. Вечернее солнце озаряло дорогу, и его длинная тень следовала по пятам. Тень пугала его. Ему казалось, что тень выдаёт его, от неё нужно избавиться. Он пробовал бежать, но и тень начинала бежать рядом.

Дорога привела его к тракту, который тянулся по степи. Рябинин не знал, в какую сторону идти, и пошёл не туда, куда садилось солнце, не на запад, а на восток, где была Россия. Он шёл по тракту в сторону России, солнце светило ему в спину, и теперь тень была его поводырём — вела в Россию.

Он старался понять природу таинственной силы, что каждый раз избавляла его от смерти. Эта сила проявилась во время первого боя, когда комбат Козерог сначала послал за водой Калмыка, но в последний момент передумал и послал Рябинина и тем самым вывел его из-под удара авиабомбы. Ещё раз та сила проявилась в каземате, откуда увели на мучительную казнь комбата Курка и Артиста, а его словно забыли и не положили под танк. И не стянули ему руки скотчем, что позволило при падении отталкиваться от камней и не разбиться. Та же таинственная сила качнула его перед выстрелом, и пуля, искавшая его, пролетела мимо. И все другие пули, и взрывы, что уносили рядом с ним жизни товарищей. Будто Кто-то хранил его. Кому-то он был нужен. Кто-то сберегал его для неизвестной цели.

Он вдруг подумал о Валентине, которая осталась в разгромленном селе и, быть может, лежит, истекая кровью, на цветочной клумбе. Или её истязают и мучают солдаты на кровати, где он недавно её обнимал и любил. Эта мысль была страшной, заставила его обернуться, толкнула назад. Но слишком велик был его ужас, неодолим был страх оказаться во власти беспощадных мучителей. И он заслонился этим страхом и ужасом, продолжая уходить на восток.

Он шагал по тракту, который уводил его с этой ужасной войны. Шёл по вечерней, озарённой солнцем степи в Россию.

Вдруг он услышал сзади металлический стрёкот — его догонял мотоцикл. Слабо пылил, вилял, не внушая опасения. Приблизился, протрещал мимо. Мотоциклист в нелепом шлеме и не посмотрел на Рябинина. Отъехав, остановился, сошёл с мотоцикла и стал мочиться. Была видна слюдяная струйка. Снова оседлал мотоцикл и укатил.

Рябинин знал, что поход его завершён. Книга, ради которой он приехал на Донбасс, ещё не написанная, уже существовала в нём. Он сам был книгой, которую можно было листать, перевёртывая опалённые страницы.

Он услышал в небе лёгкие посвисты, нежный стрекот, шелест крыльев. Его нагнала птичья стая, окружила шумом, серебристым блеском. Множество дроздов, пересвистываясь, взлетая и снижаясь, сопровождало его. Он видел их маленькие головки, тёмные клювы, блестящее оперенье. Чувствовал их крохотные сердца. Дрозды летели туда же, куда вела его тень, — они летели в Россию. Несли весть о нём, о его возвращении. Он жив, он уцелел и спешит на встречу с мильми, близкими, родными.

Рябинин напутствовал птиц, провожал, уповал на скорое свидание с ними в России.

Он шёл, улыбаясь, думая о пролетевших дроздах. Сзади раздался рокот мотора — в солнечной пыли катил автобус. Но не тот, хищный, с беспощадным воем двигателя, в каком везли узников на расстрел, а жалобно и устало тархтящий.

Рябинин сошёл на обочину, пропуская ободранный запылённый автобус. Но он остановился, дверь растворилась, и сильный голос водителя позвал:

— Садись, подвезу.

Рябинин сел, автобус покатил дальше. Водитель с сильным голосом оказался женщиной в старом офицерском кителе, с курчавыми негритянскими волосами, густо припорошёнными сединой. Автобус был полон женщин, стариков и детей. Проход был завален кулями. Сумки и мешки стояли на колёнях. Даже маленькие дети держали кульки. И у всех было одинаковое мучительное выражение глаз, которые старались что-то углядеть впереди.

И все они, женщины, старики и дети, казались сутулыми, словно в спину им дул ветер. Тот же ветер гнал и Рябинина. И он был беженец, погорелец.

Он сел на приступку возле водителя. Женщина в кителе крутила баранку. Лицо её было желтоватым, словно она болела желтухой. Волосы были полны мелкой седины, будто собрали в себя летучую степную пыль или ветер осыпал их пылью разрушенных городов.

Рябинин дремал под вой двигателя, который, казалось, своим металлическим голосом напевал: “Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю...”

Очнулся он, когда автобус остановился. Женщина в кителе сказала:

— Тебе лучше сойти, парень. Там дальше блокпост. Снимут тебя и добыют.

— Куда мне идти?

— А это куда ты хочешь. Там Россия, — она указала вперёд. — Там Луганск, Мариуполь, — она махнула назад. — Там Донецк, Макеевка, Горловка, — она кивнула куда-то вбок. — Прямо, по дороге, тебе идти нельзя. Иди в обход. Повезёт — дня через три дойдёшь.

— Спасибо, — сказал Рябинин и покинул автобус. Возница с желтоватым лицом и пыльной купой волос повлекла своих пассажиров дальше.

Он уходил от дороги в сторону соседних холмов. Солнце село, но вершина ближнего холма оставалась освещённой. Он поднимался по склону, а золотая шапка от него удалялась, словно манила к себе.

Он поднялся на холм, когда вершина погасла. Заря была огромной, как застывший пламенный вихрь. Внизу, в тенистой долине, сияло озеро. Оно было круглое, бирюзовое и слегка подрагивало, как грудь дышащего голубя.

Рябинин восхитился волшебным сиянием, бесплодной красотой, тёмными копами сена на озёрных берегах. Озеро вливалось в его измученную душу, наполняя дивной чистотой.

Он вдруг подумал, не для того ли он явился в эти края, участвовал в жестокой схватке, уцелел среди боёв и казней, чтобы найти это дивное озеро, смотреть с обожанием на его синеву, на божественную красоту его и непорочную чистоту.

Он спустился с холма и приблизился к озеру, вдыхая запах воды, сырой земли и холодной травы. Утки поднялись на крыло, с шумом вспенили воду и унеслись, оставляя на озере медленно расходящиеся круги.

Рябинин разделся, сбросив на траву измызанную одежду. Стоял голый, чувствуя стопами холод травы, а животом и грудью — чуть слышные дуновенья, веющие из озера.

Вошёл в воду, погружаясь в мягкий ил, из которого поднимались серебряные пузыри. Он чувствовал ногами их веселящие прикосновения. Вдохнул, нырнул в глубину, испытывая счастливый испуг. Плыл под водой, загребая руками, чувствуя животом пробегавшие холодные струйки ключей, питающих озеро. Выскользнул на поверхность, счастливо и шумно, увидел вокруг голубоватый свет, таинственный блеск воды. Плыл то на груди, то на спине. Озеро омывало его, ласкало и нежило. Оно смывало пот и гарь, следы слёз и крови. Все его рубцы, царапины, тёмные синяки и ссадины заживали в озёрной воде. Его утомлённая плоть и ожесточённая душа молодели и просветлялись. Озеро его к чему-то готовило, о чём-то тихо шептало и нежно звенело над ухом струйками проточной воды. Он верил озеру, любил его, отдавал себя его светлой и благой воле.

Он плыл вдоль тёмной стены камышей и вдруг увидел цветок белой лилии, её сочные лепестки и золотую сердцевину. Драгоценная звезда качалась на воде у самых глаз, источала тончайшую свежесть, прелесть упоительной женственности. Он поцеловал цветок, который был послан ему в преддверии волшебного откровения.

Рябинин вышел на берег взволнованным и просветленным, как из купели.

Было почти темно. Он выбрал копну сена, ту, что стояла поближе к воде. Лёг, утонул в глубине копны, окружённый подвядшими стеблями, пьянящими запахами. Глядел на озеро. Над водой струился туман. Пролетели утки и, крякая, сели в близких камышах.

На душе Рябинина было светло. Возникло предчувствие волшебного, долгожданного, к чему он стремился многие годы, мечтал, странствовал по городам и весям, попал на эту войну, где чудом избежал смерти. Всё для того, чтобы оказаться у этого сказочного озера, в этом обетованном краю, где поджидало его чудесное озарение.

Он дремал. В полусне видел туман, летящий над озером. Из этого тумана, как сновидение, возникала женщина. Стояла на водах, прозрачная, статная, возносясь головой к мерцающим небесам, утопая босыми стопами в тумане. Рябинин никогда прежде не видел её лица, но оно было знакомо ему, и он обожал его. В этом лице было столько красоты, благородной силы, материнской нежности, что Рябинин почувствовал, как по щекам текут слёзы. В мире, где он жил, присутствовали женственность, милосердие, чудесное избавление от смерти. Эта женщина, восхитительная и родная, сопровождала его на войне, уберегала от лютых смертей, а теперь станет сопровождать всю остальную жизнь, не позволяя ему творить зло, отводя от него сокрушительные напасти.

Рябинин смотрел на её туманное платье, прекрасное лицо, высокую белую шею, на которой красовалось ожерелье из тёмного граната, и испытывал к ней благоговение.

Пробудившись, с сожалением отпуская от себя чудесный сон. Озеро в ночи чуть светилось. Слышалась далёкая канонада. Над холмами слабо колыхалось зарево. Там, где оно колыхалось, шёл ночной бой, снаряды и бомбы падали на город, и он горел.

Рябинин вскочил с копы. Война, от которой он уходил, снова его настигала. Он заторопился, покидая озеро. Поднялся на холм. Зарево разгоралось, из белого становилось жёлтым, малиновым. Ухало, и отдалённые разрывы сливались в бархатное рокотание.

Рябинин спустился с холма и вышел на тракт. Дорога в ночи белесо светилась. Он стоял на обочине, слабо покачиваясь, словно его колыхала из стороны в сторону неведомая сила. Там, по левую руку, откуда привела его дорога, гремела война, шёл бой, погибал под обстрелом ещё один город. Направо, куда уводила дорога, была мягкая тьма, тишина. Там была Россия, было избавление от угроз и нападений. И туда, домой, направлял он свои стопы.

Рябинин вышел с обочины на тракт и сделал шаг к дому. Почувствовал, как неведомая воля колыхнула и остановила его.

Обернулся к зареву, которое начинало краснеть. Там продолжалась война, и на этой войне погибли ополченцы из батальона “Марс” с комбатом Козерогом, которые лежали на вершине Саур-Могилы и смотрели на тракт, где стоял Рябинин. На этой войне погиб батальон “Аврора” с комбатом Курком, который смотрел на тракт неподвижными синими глазами. Там, где “Грады” полосовали ночное небо, убивая город, оставалась беззащитная женщина. Её округлое, пленительное, пахнущее яблоками имя. И томик Пушкина с заветным цветком.

И Рябинин, тоскуя, будто находился в недрах каменной горы, совершил поворот, сдвинул плечами каменную тяжесть. Шагнув навстречу зареву. Быстрой и быстрой, словно торопился успеть до окончания боя встать в ряды ополченцев.

Он шагал по ночному тракту и слышал сзади тяжёлый гул. Воздух дрожал, дорога сотрясалась. Он оглянулся. Что-то неразличимое, тяжкое приближалось к нему, давило. Он сошёл с дороги и смотрел, как налетают в ночи два огонька. Мимо с тусклым светом подфарников прокатил упругий военный джип, пахнул бензиновой гарью.

Гул приближался. Рябинин, уступая место этому слепому могучему гулу, сошёл с обочины и стоял уже в бурьяне.

На тракте, мутно светя огнями, появились танки. Головная машина, лязгая, бодая пушкой ночь, выбрасывая из кормы гать, проревела мимо. Рябинин слышал скрежет песка, почувствовал тяжёлый, опахнувший его ветер.

Танки шли колонной, с жестокой мощью, с неодолимым стремлением. Рябинин, обомлев, пропускал колонну, вслушиваясь в её лязг, вглядываясь

в слепые подфарники, красные габаритные огни. Считал, сбиваясь, текущие в небе пушки, башенные пулемёты, круглые, в танковых шлемах, головы экипажей.

Колонна танков прошла, но гул не стихал. Следом, взрезая тракт гусеницами, пошла колонна самоходных гаубиц. А следом — установки залпового огня, короба, накрытые брезентом, хлопающим на ветру.

Шли боевые машины пехоты, вспарывая пыльную дорогу, шли плавные и гибкие, как ящерицы, БТРы.

Рябинин, ошеломленный, не понимал, откуда и куда движется эта ночная армада. Не выходил на дорогу, пока последний транспортёр, взбивая колёсами тракт, не промчался мимо.

А он всё ещё стоял в бурьяне, задыхаясь от гари и пыли.

Медленно вышел на тракт и побрёл, чувствуя стопами изрезанную гусеницами землю.

Впереди тёмной горой застыл танк. Мелькал свет переносного фонаря, слышались голоса, звяканье металла. Рябинин сошёл с дороги, прячась в бурьяне, обогнул танк. Был страх оказаться в руках украинских военных, страх получить пулю в ночи.

Танкисты двинулись у танка, освещали фонарём катки и гусеницы.

— Я тебе, сопля, говорил, бери запасной. А ты что?

— Когда ты мне говорил?

— Да ещё в Ростове.

— Ни хрена ты мне не говорил!

А у Рябинина возникла в груди ликующая радость, порыв броситься к ним, обнять. “Свои! Россия пришла!” Но танкисты погасили фонарь, скрылись в люке. Танк рыкнул и покатил дальше. Удалялись его красные хвостовые огни.

Рябинин шёл за танком, всё прибавляя шаг. Видел, как удаляются красные огоньки. Ночное зарево становилось всё красней и огромней.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Голова Кольчугина лежала на столе, а рука свесилась до земли. Глаза, полные холодных слёз, не мигая, смотрели в тень сада, где слабо белели флоксы. Над деревьями разгоралась огромная алая заря, и в ней пламенела узкая золотая струйка. Когда взошло солнце, на рябину слетелись дрозды. Они обклёвывали ягоды, шумели, перелетали в ветвях, вспыхивая серебристыми перьями. Ягоды сыпались на голову Кольчугина, краснея и на столе, и в его волосах.